

Далия
Трускиновская



Заколдованная
душегрея

Государевы конюхи

Даля Трускиновская

Заколдованная душегрея

«Снежный Ком»

2000

Трускиновская Д. М.

Заколдованная душегрея / Д. М. Трускиновская — «Снежный Ком», 2000 — (Государевы конюхи)

Москва, XVII век. Ввязываясь в расследование таинственной пропажи расшитой душегреи, молодой конюшонок Данилка не подозревает, что это лишь начало его удивительных и опасных приключений на службе в государевых конюшнях.

Даля Трускиновская

Заколдованная душегрея

– Данилка, ведь ты дурак, и сам того не ведаешь! – устало долбил дедушка Акишев. – Вот теперь Родьку под батоги подвел. Спасу от тебя нет! Уродил Бог чадище-исчадище! Гнать тебя с государевых конюшен в тычки, горе ты наше неизбывное...

Восемнадцатилетний Данилка стоял перед дедом и сам недоумевал, как же в этакую несусицу вляпался. Впрочем, рожа у него была отнюдь не горестная, раскаяния на ней не читалось. К таким выражениям она была мало приспособлена.

Парень вымахал с оглоблю и обликом смахивал на щенка с крупными лапами. Лицом он был нехорош – все дело портил крупный нос, к кончику утолщенный, наподобие раздвоенной шишечки, и даже малость съехавший набок. Получалось, что и рот, и подбородок, еще только тоскующий о бороде, тоже слегка набекрень. С волосами же была морока – хоть под коровий язык подставляй, гладко лежать не желали, пушились, чуть ветерком потянет – и вставали дымчатым облаком. Потому Данилка был обречен постоянно носить шапку или хоть ремешок, стягивавший волосы по лбу.

Нехорош-то на рожу нехорош, да вот глазищи темно-карие – мало чем поменьше, чем у кровного персидского аргамака, и цвет тот же, и упрямство в них то же порой замечалось...

А ежели бы кто дал себе труд приглядеться к парню, которого в Аргамачьих конюшнях считали малость отупевшим от нелегкой работы, то и обнаружили бы немалые залежи того упрямства.

– Тебе что следовало подьячему отвечать? Что государевых конюшен стряпчий конюх Родька Анофриев послан с жеребцами на кобыличью конюшню в Давыдково! – отдавал запоздалое распоряжение дед. – Или лучше в Великое, оно вроде подальше. Кобылкам там, мол, невтерпех! Нешто подьячий за ним туда погонится? И все одно туда коней уж водить стали. А ты, дурья башка, и рад стараться, – извольте, мол, Пантелей Григорьич, он тут же, от трудов праведных отдыхает!

Когда Конюшенного приказа подьячий Пантелей Бухвостов остановился за два шага от почивавшего на душистом сене Родьки, когда окликнул дважды и трижды, но ответа не дождался, когда присел наконец, отводя руками разом полы шубы и однорядки, и, вытянув шею, громко принялся, Данилка и сам понял свою ошибку.

За пьянство при исполнении государственной службы по головке никого не гладили. Порой на государя Алексея Михайловича такая страсть к праведности нападала – только держись. Родька же был пьян наипьянейшим образом, пьян в стельку, пьян в дрифт, до полнейшего и длительного бесчувствия. И как только до конюшен добрал, как только аргамаку под копыта не свалился, а в сено закопался, – уму непостижимо.

Главное – никого из старших рядом не случилось, чтобы подьячего с почтением увести, ласковенько уговаривая, да при этом еще два, но лучше три алтына совсем незаметненько из руки в руку передать, как если бы ненароком, бессознательно...

Красная же цена подьячему Бухвостову – пять алтынов! За такие деньги он кому хошь угодит.

– И все бы сказали – да, мол, послан с жеребцами со вчерашнего дня, повел после обеда, потому как с утра мыты, мокрого аргамака на мороз только круглый дурак выведет, там, в Давыдково, видать, и заночевал. Охота была подьячему проверять, где Родька ночевал! Нанялся он Родькино девство блюсти, что ли?!? А коли что – тебя бы, дурака, в Давыдково послали – предупредить. Ночевал, мол, и утром, поев, ушел!

Родька не впервые прихвачен был в беспробудном состоянии. Но – своими. Бывало, не только до обеда, а и целые сутки отсыпался. Дед Акишев сам ругал его ругательски и клял

разнообразно, однако выгони Родьку с конюшни – что жена, Татьяна, и шестеро чад, есть-пить будут? Татьяна же – дедкина внучка, вот и понимамай... Конюхи меж собой роднились и друг дружку прикрывали.

Государь, Алексей Михайлович, это негласно одобрял. Вроде и сурово прикрикнет, а ясно же – любя! Вроде и недовольно покрутит носом, а не мрачнеет румяное круглое личико. Без слов видно – одобряет!

Ибо то, что конюхи в любом деле навичны были друг дружку прикрывать, как раз и входило в сокровенные государевы замыслы...

Как Данилка угодил на Аргамачьи конюшни – это была история грустная, с какого конца ни глянь. В сто шестьдесят третьем от сотворения мира, чтоб не соврать, году вздумал государь воевать Смоленщину, и был к нему милостив Бог – и Белая Русь, и Литва склонились под его государеву руку. А в сто шестьдесят четвертом году, когда избыли все последствия чумного сидения, наконец привели на Москву белорусский полон – посадских людей, которые сами себя звали мещанами. Расселились эти горемыки по дворам, где которого за гроши приютили, и стали искать себе пропитания. Тут и пожаловали в Конюшенный приказ батька с сыном. Батька сказался оршанским шляхтичем по прозванию Менжик, да потом проболтался – конями, оказалось, торговал, а более – менял. Божился, что умеет ходить и за верховыми, и за возниками, и за жеребыми кобылами, сдуру сперва просился на государевы Аргамачьи конюшни, что в самом Кремле, потом рад был и в Даниловское, и в Уславцево, но взять его не взяли – отговорились, мол, своих девать некуда, а про себя рассудили – кто его разберет, человек неведомый и уж больно шустрый...

В поисках места обошел за осень Менжик едва ли не все подмосковные кобыличьи конюшни. Побывал в Давыдкове, в Александровской и Гавриловской слободах, в Хорошеве. И всюду – безуспешно, как будто впереди него от Аргамачьих и от Больших, что в Чертолье, конюшен весть неслась – не брать, и все тут. А в ином он, видать, ничего не смыслил, и просился смотреть за конями до того отчаянно, как если бы это было его единственным спасением.

Батьку-то не взяли и, как потом оказалось, правильно сделали – был он неисцелимо болен, долгий пеший путь в Москву насилу перенес и к зиме помер. А сынок деду Акишеву чем-то приглянулся. Еще когда молча стоял рядом с батькой и при самом наглom батькином хвастовстве вскидывал с тревогой глазищи...

Дед на конюшнях обретался еще со Смутного времени и помнил, как государь Михаил Федорович учредил Конюшенный приказ. А было это в сто тридцать четвертом году. Сменялись ясельничие, дьяки и подьячие, а стряпчий конюх Назарий Акишев был один, незаменимый. Под конец жизни назначили деда, невзирая на низкое происхождение, задворным конюхом, потому что строг был отменно. Однако он, принимая и выдавая корм для лошадей, следя за чистотой и порядком на конюшне и в конюшенных дворах, продолжал заниматься любимым делом – выездкой и обучением лошадей. И высматривал, кто из конюхов к чему пригоден. А вот от особой обязанности при государевом выезде – нести или везти богато расшитые попонки, которыми покрывали царских коней на стоянке, а также деревянную, бархатом обитую скамеечку-приступку, которую полагалось подставлять царю, когда он садился в седло или сходил с коня, – от этой обязанности его сам государь Алексей Михайлович самолично освободил.

Был у деда еще один доход – он в доле еще с двумя задворными конюхами взял на откуп конскую площадку, где лошадьми торговали, и имел часть в пошлинных деньгах от продажи.

Как осиротел Менжиков парнишка, да как случайно и, к счастью, быстро донеслась эта весть до Аргамачьих конюшен, – дед Акишев и призадумался. Так получалось, потому вроде Менжик в нищете помер, что на государевы конюшни не взяли, а в этом дедова заслуга...

Деду же скоро на тот свет собираться, и дай Бог старые грехи успеть отмолить, а тут еще новый себе на шею навесил...

Помаявшись, дед велел конюшонку Ванюшке Анофриеву, которого искренне считал внуком и возрастил как внука, добежать до того двора, откуда уже выкинули Данилку, отыскать сироту, привести в Кремль, на конюшни. Когда Ваня поручение выполнил (о подробностях умолчал), дед сказал Данилке так: посмотрим, вправду ли за конями ходить навычен, а коли вы с батеи не соврали – при конюшне как-никак зиму прокормишься. А дальше – как Бог даст.

Данилка и кормился! Да только каждый кусок хлеба тяжким трудом добывал. Новичка первым делом приставили к водогрейному очагу, в который котел вмазан. А тот котел, надо полагать, отливали под пару к преогромной пушке, именем Дробовик, изготовленной еще при царе Федоре Иоанновиче и весившей пудов с две тысячи. И то – всех лошадей ежедневно полагается теплой водой мыть до зеркального блеска, так сколько же воды требуется? Знай подбавляй!

Много лет назад при царе Михаиле Федоровиче было поставлено в Свибловой башне, получившей после того название Водовзводной, хитрое устройство, чтобы поднимать воду из Москвы-реки наверх, в терема, сады, но главным образом – в Сытенный и Кормовой двory. О них-то позаботились, а про Аргамачьи конюшни решили, что они и так близко к воде стоят.

В первую зиму котел Данилке вовсе необъятным казался. Потом уж, когда стал постарше и покрепче, посчитал как-то – чуть поболее двадцати ведер. Но вроде и за последним ведром побежал, а вернулся – конюхи уж половину вычерпали, тащись снова. А огонь в очаге? Данилка, таская воду и дрова, лошадей и не видывал. Спроси, какие в ту зиму аргамачи на конюшне стояли, – и не сказал бы, поди...

Жалость дедова ему же вышла боком. Зимой Данилке было не до проказ, даже несколько отупел парнишка, бегая с ведрами, однако потом, когда свободного времени стало поболее, парень оказался замечен в дуростях. И не со зла дурил – кабы со зла, лететь бы ему из конюшенных ворот со свистом. А само как-то так выходило...

Дед, однажды сгоряча раскричавшись, даже и женить его до тридцати лет не велел, хотя ровесник, Ваня Анофриев, уже и повенчаться успел, и чадо родить. Данилка понимал, что и ему бы, ежели по уму – жениться пора, да ведь пройдешь мимо свахина двора – и то дедка узнает, всюду у него родня, всюду у него знакомцы...

Что Данилке на Москве понравилось – женили рано. Как только начинает парень себя мужиком ощущать – вот ему и спелая девка, и живи с ней, а не мучайся! Но это, пожалуй, было единственное. Парень тосковал – даже в те редкие свободные часы, которые нет-нет да и выпадали, деваться ему было некуда, разве что в один из белокаменных кремлевских соборов – Богу молиться...

– Ну, чего качаешься? Не пьян, а качает его! Встань прямо, когда старшие уму-разуму учат! – прикрикнул дед.

Данилка умел и прямо стоять, но если ему приходилось стоя думать, или же волновался, то начинал чуть заметно с ноги на ногу переступать и от того раскачивался, как сосна в сильный ветер. Дед Акишев всячески старался истребить в нем эту дурную привычку, но окрики не помогали.

– Уж точно – уродился шаршавый, не нашей державы! С дураком Родькой мы тут сами разберемся, – бубнил дед, – ты-то, окаянный, для чего встрял?

Знать бы – для чего! Само получилось...

Одно было утешение – на сей раз пьянюшке Родьке не миновать батогов. Вольно ему целую ночь шататься незнамо где, приползая чуть ли не без порток... И, пожалуй, зазорными девками с Неглинки тоже не брезговал. А ведь женатый!

Долго бы пилил дедка Данилку, да только ворвался в шорничью, где эта казнь творилась, Алешка, Татьянин старшенький, дедов правнук, краснощекий с мороза, как яблочко. Встал перед дедом и молчит, сопя.

– Чего тебе, Алешенька? – спросил дед. – Ну-ка, лоб на образ перекрести да и сказывай!

Образа недорогое по всей конюшне в углах были повешены. Сами, чай, не бусурмане, и коням – оберег.

– Домой, дедушка, поспешай! – на скорую руку крестясь, выпалил парнишка. – Мамка скорее бежать велела!

– А что такое стряслось? – Дед с большой неохотой оторвался от заунывного своего занятия.

Внученок пожал плечиками и уставился на деда – мол, что знал, выкрикнул, более – не добьешься, но страшно, жутко, и без тебя, деда, – никак!

– Что же там у них за докука? – сам себя спросил дед. – Видать, придется сходить.

Он поднялся с большого расписного короба, на котором сидел во все время нравоучения, посмотрел на понурого Данилку и решительно поскреб в затылке.

– Пойдем, горе мое! Не буду тебя, дурня, тут оставлять. Приедут Никишка с Гришкой, узнают про Родьку – быть тебе битым... А надо бы...

Никишка с Гришкой Анофриевы Родьке были не родными, а двоюродными братьями, однако кулаки их с того легче бы не показались. Они-то как раз и повели жеребцов на кобылицью конюшню, они-то при нужде и подтвердили бы, что беспутный Родька с ними ездил и в грехах не замечен. Февраль был – как раз то время, когда первые кобылки в охоту приходят.

Деду не было нужды приказывать, и без того всякое его слово на конюшнях исполнялось. Данилка побежал за тулупчиком и шапкой. В первую свою зиму он получил от деда покойной бабки шубейку, голову платом в мороз заматывал, а поскольку трудился за хлеб да за кров, то заработать на одежку не мог. Лишь к третьей зиме дед раздобыл ему совсем справный овчинный тулупчик. О жалованье же для парня мог бы сказать кому следует в Конюшенном приказе, да все как-то не говорил.

Когда Данилка вернулся, дед уже стоял в длинной заячьей, бурым сукном крытой шубе, придававшей ему дородства, высокий ворот – козырем, островерхая шапка с широкой меховой опушкой надвинута на лоб и редкие волосы под нее тщательно убраны, сам – маленький, но виду достойного, даже несколько заносчивого.

Аргамачьи конюшни были в самом Кремле, у Боровицких ворот, а жили Родька Анофриев со своей Татьяной, как и положено, в Конюшенной слободе, до которой добежать было – не успеет кочет трижды прокричать, как ты уж и там. Раньше, еще до Смутного времени, там и государевы конюшни были, а после того, как поляков прогнали, лошадей, нужных для Верха, велели держать прямо в Кремле.

Данилка редко выходил из Кремля. Незачем было. Он и по сей день дичился все еще чужого города. Если выйти в город, скажем, через Спасские ворота – так там же торг да Гостиный двор, сущее скопление соблазнов для живущего хлебом, да луком, да квасом Данилки, да и денег же нет ни гроша!.. Через Троицкие – иного рода соблазн, Троицкими воротами приезжие боярыни в гости к государыне Марье Ильинишне едут, взрослых дочек с собой берут. Там постоянно кто-то из верховых женок или девок околачивается, то с одним, то с другим поручением от верховых боярынь. Пронесется, скользя по тропинке меж сугробов, девка в шубке внакидку, мотнет русой косой до подколенок – а парню одно расстройство.

Спасские ворота были для бояр, для дьяков с подьячими, для купеческого сословия, Троицкие – для царицыных гостей и патриарха, а вот Боровицкие – те хозяйственные. Того гляди, прижмет в самом створе к стенке воз с дровами или погонят, ругаясь, прочь с дороги бабы-мовницы, везущие стирать на речку царское постельное белье в опечатанных коробах.

Шум с Татьянина двора слышен был ну не за версту, так немногим менее. Не только бабы орали и вопили, а и цепные псы, изумленные суетой, заливались лаем.

– Анютка, что там у них стряслось? – окликнул дед пробегавшую в ту же сторону молодую бабу, тоже свою внучку, но от другого сына.

Баба, придерживавшая у шеи ворот накинутой на плечи шубы, сразу не смогла остановиться, проехала по утоптанному снегу, но повернулась – и Данилка изумился ее лицу. Будь он в словах поискуснее, назвал бы такое выражение восторженным ужасом.

– Ой, дедушка, беда! Устинью Гавриловну изверги порешили!

– Какие изверги? Как порешили? Да ты стой, дура! – прикрикнул дед, которому ноги уже не позволяли с молодыми бабами вровень бегать.

– А я откуда знаю? Нашли ее, голубушку, в переулке, и острый ножик в самом сердечушке торчит! Ахти нам!

Во дворе не пропихнуться было от баб, зажавших в угол Стеньку Аксентьева, земского ярыжку. Он-то и принес скорбное известие. Дед, громко костеря баб, пробился к Стеньке и вывел его из толпы.

– Ну, сказывай! – велел.

– От дуры... – проворчал Стенька, поправляя торчащие из-под колпака с меховой оторочкой длинные кудри. – Ко мне лезут! Орут! Словно это я ее нашел! А ее утром стрелецкий караул подобрал! Лежала, сказывают, кверху задом, во всем безобразии и непотребстве, только что снежком припорошенная. Пусть еще рады будут, что Якушка сразу Устинью признал. Так то ж тетка Устиньница-то, кричит! Родькина тещенька-то Анофриева! Не иначе – его труды!

– Ножом в сердце? – усомнился дед.

– Каким тебе ножом, дедушка? Удалили тетку. Послушай, Назарий Петрович, мне тут недосуг. Тело новопреставленной до сих пор у нас на погребке лежит, нехорошо. Вели Татьяне – пусть одежонку принесет, а то вид срамной. И обмыть надо. Вся она в дерьме, прости Господи... Негоже ее такую в церковь везти.

– А куда ж одежонка-то подевалась?

– А я откуда знаю? На ней одна рубаха распояской, и та снизу доверху располосована. И голова непокрыта. И босая она.

– Где ж стрельцы ее такую подняли? – уже напряженно обдумывая некую мысль, спросил дед.

– А не поверишь – у Крестовоздвиженской обители! Видать, ночью ее всполошили, как была – так и бежать кинулась.

– Далековато забежала! – удивился дед. – Где Конюшенная слобода, а где Крестовоздвиженская? Да ночью, да телешом по морозу?

– С перепугу и не в такие палестины убежишь, – отвечал Стенька. – Опять же – не в Китай-город же тетку занесло. Ничего в этом несурзадного нет. Стало быть, бегать не разучилась... прости, Господи, ее душу грешную...

– Думаешь, Родька к ней ночью пьяный завалился, а она от него удирать кинулась? – спросил дед. – Босая, распояской, по снегу?

– Все же знают – сколько он, дурак, грозился тещу порешить! Помнишь, Назарий Петрович, – он, выпивши, ее гонял? Тут и к ворожейке не ходи – все, как на ладони.

Дед задумался.

Данилке бы сразу и сгинуть, хотя бы и за угол, не дожидаясь дедовых умозаключений, однако сдуру задержался, хотел услышать еще что-нибудь про покойницу. Тут дед его и прихватил!

– Ну, сучий сын, выблядок, подвел ты Родьку под виселицу! Мужик неведомо где ночь провел, пьяный до конюшни дополз, лыка не вяжет! У дьяка на него давно зуб! Значит, он, раб Божий, Устинью и удавил! А все через тебя!

– Да нет же! – изумился Данилка. – Он пьяный разве собаку пнет. И то не всякую!

– Как Устинью гонял – все видели! – отрубил дед.

– Так за дело же!.. – встрял земский ярыжка.

Дед грозно повернулся к нему. Стенька прикусил язык, да поздно было.

– За какое такое дело?

– А я почему знаю?! Да и недосуг мне! Я что велено сделал, а теперь вы уж сами ступайте, свою покойницу забирайте! – решительно пошел на попятный Стенька.

Краем уха даже Данилка слышал, что Устинья за Татьяной недодала приданого. А чем не повод для смертоубийства? Бывает, за медный пятак душегубы на тот свет отправляют, а тут – целый список всякого добра... Вот скажи теперь возмущенному деду, что Родька поделом тещу свою порешил, – как раз затрещиной и отблагодарит. А затрещины у Акишева и по сей день крепкие были.

– Ой, дедушка, да ой, да как же мне быть? – с таким криком, сопровождаемая воющими бабами, протянув вперед руки, пошла к деду через двор Татьяна. – Сирота я горькая, несчастная! Не уберегла родную матушку!.. А Агашку, ведьму, сучку, своими руками удавлю!.. Она, она матушку испортила, сглазила, блядина дочь, а все через ее слова дурные!

Дед, так же протянув вперед руки в меховых рукавицах, пошел навстречу внучке.

Данилка и земский ярыжка остались одни за углом подклета. И как-то странно было бы сейчас взять да и разбежаться в разные стороны.

– Сирота несчастная... – проворчал Стенька. – Не уберегла!.. Агашка ей виновата! До сих пор такой порчи не было, чтобы через нее удавили. У нас в Земском приказе сколько дел о порче было, но ни одного смертоубийственного. Приданое нужно было из матушки выколачивать – вот бы и уберегла. А так – ни приданого, ни матушки...

Поскольку рядом никого более не было, Данилка понял, что земский ярыжка обратился к нему.

– А дед прав – она далеко забежала, – сказал он, соображая.

– Так ежели гонят – поневоле забежишь! – возразил Стенька. – Другое вот непонятно... Стенька постоял, посопел несколько, словно давая созреть умной мысли.

– Скажем, пришел бы к ней с вечера пьяный зять с приданным разбираться – так она ж, поди, одетая была бы? А коли ночью вздумал бы к ней завалиться – так она бы его, поди, и вовсе не впустила бы? А коли бы впустила, так хоть распашницу бы накинула, косы в волосник убрала, каким-никаким убрусцем голову прикрыла? Вот и понимай!

– А точно! – изумился Данилка. – Как же это она?...

– Как? А коли баба простоволосая и в одной рубахе ночью гостя встречает, то вот и разумеешь – как! – отрубил Стенька. – Теперь уж и не разберешь, чего они на самом деле не поделили. И какого рожна она от него в таком виде со двора вымелась...

– А где она жила? – спросил ярыжку Данилка.

– А тут неподалеку. Ей бы, мимо дочкиного двора бегучи, к дочке заскочить, при жене и при детях Родька бы ее пальцем не тронул, а она, гляди, мимо проскочила. У бабы волос-то долог, а ум-то короток...

Стенька отошел в сторону – поглядеть, чем там занимается дед Акишев. Дед с внучкой, обнявшись, всходили на крыльцо, соседки – следом. И последняя надежда получить хотя бы полушку за услугу рухнула.

Тогда земский ярыжка сплюнул и пошел со двора прочь. Свое дело он совершил – известие доставил, а в Земском приказе его, чай, еще немало иных дел дожидается. Ярыжка – ниже его нет, всяк над ним боярин...

Данилка остался за углом подклета, возле самого забора, никому не надобный. Дед Акишев в горнице утешал внучку. Бабы наверняка клубились вокруг, всплескивая длинными рукавами и добавляя причитаний. Детей кто-то из соседок поразумнее разобрал по домам. Туда надо бы и Татьяну спрятать, подумал Данилка, сбегутся сейчас дуры-плачеи со всей слободы, в горницу ввалятся и подымут вой, будут бедной бабе душу травить.

В глубине души он был благодарен тем хозяевам, у которых на дворе, в холодном сарае, умер его отец. Те сироте доброго слова не сказали (дурного, правда, тоже) и рыдать в три ручья силком не заставляли. Сидит парень в углу, как деревянный, – ну и шут с ним...

Солнце уже перевалило за полдень. Время было обеденное. А куда деваться – Данилка не знал.

На конюшню он без деда возвращаться не хотел – не ровен час, Никишка и Гришка Анофриевы приедут, узнают, как Данилка Бухвостова прямехонько к пьяному Родьке подвел, и спрятаться от них будет негде.

Торчать в чужом дворе тоже особого смысла не было. Вряд ли дед послал бы его хлопотать насчет похорон. Во-первых, чужой он тут человек, никого и ничего не знает, а во-вторых – только и заботы деду помнить сейчас, что чадище-исчадище без дела по двору болтается.

Нужно было самому чем-то себя занять.

Данилка вслед за Стенькой Аксентьевым пошел со двора. Только Стенька сразу резво направился туда, где над крышами поблескивали купола кремлевских церквей, а Данилка побрел в другую сторону.

Улицы, и без того неширокие, обросли сугробами – иным переулком только пеший и протиснется. Дома ставились, как кому на ум взбредет, одни заборы тянулись ровным строем, друг дружку продолжая, и едва ль не доверху были занесены снегом. Хозяева разгребались лишь перед воротами и, у кого была, калиточкой.

Как же так вышло, спросил себя Данилка, что перепуганная баба пронеслась мимо дочкиного двора? Когда человек выскакивает на мороз не одетый, он от укрытия к укрытию бежит. Данилка вспомнил, как сам той отчаянной зимой, бегая с ведрами на Москву-реку, норовил спрямить путь. Ночью морозец крепчает, и неужто Устинья до того с перепугу ошалела, что холода не чуяла?

Ну-ка, опять спросил он себя, откуда же и куда она бежала?

Может статься, вдовую, одиноко живущую и никому отчетом не обязанную бабу занесло на ночь глядя в гости к куме или к родне. Может, шла из гостей, напали на нее лихие люди, каких на Москве всегда водилось в избытке, накинули сзади удавку, сдернули шубейку, поснимали одежку? Даже чеботы с ног стянули? Могло же такое быть?

А коли могло, стало быть, и Родька – ни при чем?

Мало ли где стервец накушался?

Данилка усмехнулся.

Он уже сделался достаточно умен, чтобы понимать: деда Акишева ему Бог послал, и государевы Аргамачьи конюшни не только жизнь ему спасли, а и, может статься, дорогу на много лет вперед указали. Причем дороженька – не из худших, потому что московские конюхи у царя на виду и ни одной их жалобы он без внимания не оставит.

А как жить на конюшнях, ежели стар и млад будет пальцем казать – вот он, тот подлец, через которого наш брат и сват, Родька Анофриев, безвинно пострадал! Даже ежели Родька и поквитался с тещей, все равно ведь свои скажут: безвинно!

Данилка полагал пробыть на конюшнях еще несколько лет. Ведь начнут же однажды платить жалованье! Тогда можно будет прикопить денег и уйти из постылой Москвы назад – в Оршу или в Смоленск. Сейчас-то он там никому не нужен, даже если сыщется родня – может не принять. С деньгами – другое дело.

Искал домишко Устиньи Натрускиной Данилка скорее по собственному соображению, чем через расспросы. До сих пор сохранялся у него нерусский выговор, однако на конюшнях уж попривыкли, а в иных местах это было в диковинку. Мещане, которых привели с Белой Руси, старались селиться вместе, иные очень даже крепко друг за дружку держались. И там, где их знали, на выговор уже не смотрели. Среди конюшенного же люда один Данилка Менжиков

такой и был. А поскольку говорить ему там доводилось редко, то и от выговора он все не мог избавиться.

Придя же к тому дому и забравшись на сугроб, глянул Данилка через забор и призадумался. Прежде всего – не было никаких следов беготни, как если бы не выскакивала ночью на двор простоволосая теща и не гнался за ней одуревший Родька. Лежал себе с вечера выпавший снежок – и лежал. А во-вторых, Устинья, ежели ее и впрямь понесло мимо дочкиного дома к Крестовоздвиженской обители, непременно должна была бежать вдоль забора, за которым ныне проживал дружок Ваня Анофриев. И вон он, тот забор!

Об этом и подумал Данилка, стоя на сугробе. А тут кинулась с другой стороны на доски яростная собачонка. Так залаяла – аж уши заложило. Сторожа Устинья держала голосистого.

Чтобы зря псину не смущать, Данилка сполз с сугроба. Но переполох уж поднялся – справа и слева откликнулись прочие сторожа. И даже раздался басовитый голос, пославший собаку туда, где ей-то уж решительно нечего было делать.

Пока не появился какой-нибудь хозяин с кулаками или с кнутом да не привязался к чужому парню в жалкой одежонке, которому вздумалось вдруг собак дразнить, решил Данилка убраться подальше. И завернул было за угол, но тут оказалось, что не один он псов лаять подзуживает. Как раз за углом, вскарабкавшись на сугроб, держалась рукавичкой за забор девка и тоже что-то высматривала на Устиньином подворье. Она повернулась – и чем-то ей Данилка не понравился...

Кое-кого из слободских девок Данилка уже знал в лицо, потому как прибегали на Аргамачьи конюшни, приносили отцам и братьям поесть или чего велят. Эту же девку он видел впервые, да и одета она была не в пример слободским – нарядно, как воскресным днем в церковь Божью. И то – не всякий отец справит дочери такую шубу, крытую не сукнецом, а заморской узорной тканью.

Нарядная девка, словно испугавшись, поспешила прочь.

Данилка же знал, что бояться его – нечего, во-первых, он в переулке один, во-вторых, понимает – такую девку богатую чуть задень, так всю жизнь не расхлебашь. Тут родные с жалобой не то что до Судного приказа – до государыни царицы доберутся! А коли государыня Марья Ильинишна из своих рук жалобу государю вручит, так он делу непременно ход даст, тут и к бабке не ходи...

Опять же – у девки в руке оказалась длинная прямая палка, вроде тех посохов, на какие опираются бояре с князьями, да и боярыни, что постарше.

И сперва Данилка удивился тому, что девка так улепетывает, а потом словно по башке кто стукнул: пресвятая Богородица, да ведь она к покойной Устинье в гости пожаловала! И не в ворота стучала, а огородами заходила, что-то там такое выглядывала... Стало быть, знает, что Устинья приказала долго жить! Или же что-то иное знает! И, не вывались из-за угла Данилка, она, того гляди, перебралась бы через забор, отогнала палкой пса, да и в дом! А он ее, выходит, спугнул!

Данилка побежал следом.

Отродясь он за девками не бегал. Кроме всего прочего – гордость мешала. В таких отрешках только воду аргамачкам носить, думал он, вот разживусь сапогами, шапкой, поясом, однорядкой хорошей – тогда... Помнил Данилка, что за чудные сапожки однажды купила ему мать в Орше, что за кафтанчик справили, как вышила рубашку сестрица. И где они? Мать не выдержала дороги, поди догадайся теперь, где схоронили, а сестра так и пропала...

Вот не бегал за девками – а пришлось же!

Она обернулась, и понял Данилка, что здорово ее перепугал. А тут и пустой переулок кончился. Девка оказалась на неведомой Данилке улице и понеслась-поскользила, помогая себе посохом. Тут уж она могла не опасаться, что чужой парень пристанет и сотворит непотребство,

однако оглядывалась и поспешала далее. Данилка уверился – это бегство каким-то образом связано с Устиньиной погibelью.

Ежели по уму, то следовало бы Данилке приотстать, следить за девкой издали, высмотреть, в каком доме укроется, добрых людей на улице расспросить, а потом прийти к деду Акишеву, рассказать, чтобы опытный дед передал это кому следует в Земском приказе, подьячим которого как раз и положено разбирать преступления, совершаемые на Москве. Вот если за пределами столицы – на то Разбойный приказ есть.

Но погоня так захватила парня, что думать было уже некогда.

Вдруг девка резко повернула вправо и исчезла. Добежав, Данилка понял – девка заскочила в церковь, полагая, что там-то она уж точно будет в безопасности.

Данилка, перекрестясь на наддверный образ, до того потемневший, что один лишь нимб и угадывался вокруг лика, вошел и оказался в тепле и зыбком полумраке. После ясных и ярких лиц, одежд, зданий, так отчетливо выделявшихся на синем небе и белом снегу, все в церкви показалось ему расплывчато-туманным, и он не сразу понял, что взор сбит с толку колебаниями сизых облачков обильного ладанного дыма, сквозь которые огоньки свеч – и те тусклы...

Девка в церкви исчезла – словно растаяла. Данилка тихонько стал за спинами молящихся обходить храм. И лишь какое-то время спустя догадался – она притаилась у самых дверей, а стоило ему войти, она и выскочила. Не впервой, видать, было ей вот этак уходить от погони.

Данилка призадумался.

Любопытную загадку загадала ему Москва...

Собственно Москвы в его жизни почитай что и не было. Он обитал на конюшнях, крайне редко показывая оттуда нос, по летнему времени – в подмосковных, на конюшнях же. Твердо знал разве что дорогу до Конюшенной слободы и обратно. О том, что творится на Москве, как люди живут, чем тешатся, знал разве что с чужих слов. Поди знай – может, в этом городе так и положено – чтобы не докапываться, кто совершил преступление, а хватать человека потому, что на первый взгляд ниточка к нему ведет – стало, и второй уж не надобен...

И тут Данилка вспомнил, что еще на сугробе у забора начал обдумывать нечто важное...

С этой мыслью он вышел из церкви и обнаружил, что уже смеркается. И крепко ему захотелось почесать в затылке.

Данилка не знал, куда идти.

То, что он оказался на незнакомой улице у незнакомой церкви, это еще полбеда. Малое дитя – и то укажет, в какой стороне Кремль. Другое неясно – где сейчас дед Акишев. Может, сидит с внучкой, утешает. А может, обратно на конюшни отправился, там же пьяный Родька, за которым непременно придут из Земского приказа, чтобы взять за приставы... Дед-то умен, знает, как передать из руки в руку барашка в бумажке... И вытаскивать Родьку из беды он будет непременно, даже если тот виновен. А вот ежели Данилка приплетется на конюшни, деда там не найдет, зато встретит братцев Анофриевых, которым добрые люди уже донесли, кто показал подьячему пьяненького Родьку, – тогда уж точно зубов не досчитаешься...

И это бы тоже еще полбеда. А что понемногу с конюшен выживут – это уж полная беда, полновесная! Раз, другой в тихом уголке скажут – шел бы ты отсюда, нам тут такие не надобны. И кулак под нос поднесут. Сам будешь рад обратиться...

Но было местечко, где Данилка мог бы одну ночь неприметно скоротать. Заодно и разведал бы, что нового на конюшнях. И это был домишко, где ныне проживал с семейством женатый восемнадцатилетний мужик Иван Анофриев.

С Ваней Данилка подружился вот по какому случаю...

Сперва, конечно, он на всех в Москве смотрел волчонком, в том числе и на ровесников. Пригнали мещан, как скот, бросили беспомощных – как хотите, так и живите. Данилка, видя, что отец, отчаявшись найти заработок и страдая от горловой болезни, не гнушается милостыней, озлобился. Не понимал – как можно?!?

После отцовской смерти он попросту сбежал с того подворья, где их Христа ради в сараюшке приютили, предоставив добрым людям хоронить оршанского шляхтича как знают. Данилка знал, что, на зиму глядя, бежать домой, в разоренные войной края, смерти подобно. Но и на Москве ждала все та же смерть.

Данилка забрался в заколоченный дом. Стоял он такой с чумного времени, и сказывали – кто к вещам прикоснется, того и прихватит затаившееся поветрие, сядут по всему телу прыщи, помутится в голове, хлынет горлом кровь... Ежели по уму – сжечь бы следовало этот дом, однако красота его смущала людей, жалели. Данилка решил – ну и пускай! Лишь бы скорее. Но голова-то думает одно, а руки творят совсем иное. Он растопил печь, пустив на дрова старую, в сених стоявшую, лавку, и впервые за неделю бесприютных шатаний кое-как согрелся. Норовя удержать тепло, не вовремя закрыл заслонку. И, осознав это сквозь сон, решил – тем лучше...

Оттуда и вывел его, угоревшего, Ваня, не побоявшись зайти. Дураком назвал, но не обидно, вопросов глупых не задавал, первым делом из-за пазухи пирог с грибами вынул, но надвое разделил, и съели они тот пирог, и показалось Данилке, что с невысоким, крепеньким, рассудительным Ваней вошло в его жизнь нечто, способное ее переменить.

Ваня привел оголодавшего парня к деду, но где его отыскал – сохранил в тайне. Народ после чумного сидения пуганый, а дед Акишев явственно сказал – надо сироту спасти.

И потом не раз тот же Ваня то обедом делился, хотя сколько в муравленом горшочке той каши, заправленной постным маслом, то помогал за водогрейным очагом смотреть, пока Данилка за водой носился. И все – неторопливо, без лишних слов, не дожидаясь просьбы о помощи, которой от Данилки бы и ангел небесный не дождался.

Понемногу Данилка привык к тому, что Ваня постоянно поблизости и выручит. Но последнее, что осталось ему в бедствиях от прежней, оршанской жизни, была гордость, жалкая на чужой взгляд, но непобедимая гордость нищего шляхтича, последнего в ряду себе подобных. И Данилка время от времени отталкивал протянутую руку, с пирогом ли, с растопкой ли для очага. Потому что ничем не мог ответить, ничего не имел, чтобы дать взамен...

Сейчас же он был владельцем особого товара. Он знал нечто, для жизни Аргамачьих конюшен очень важное, да и для своей, пожалуй, тоже...

А прийти в теплый Ванин дом не с пустыми руками, но с любопытной новостью, он уже мог. Это ему гордость позволяла.

* * *

Знал бы Стенька Аксентьев, что малой, меньше некуда, своей должностью и скверным о себе мнением со стороны начальства обязан собственной жене, – удивился бы безмерно.

А началось-то все с его смазливой рожи...

Как вошел Стенька в жениховскую пору, так и прилипло к нему прозвание «девичья погибель». Выйдет этот Стенька на улицу, шапочка – набекрень, из-под нее крупные кудри расчесанные, и щеки-то у него румяные, и бородка молодая гладенько лежит, и глаза синие, и носик пряменький, и поступь молодецкая, и стан в перехвате тонок! Девки только ахали тихонько да друг за дружку хватались. В церкви дуры не на образа и не на батюшку, а на Стеньку одного тарацились.

Мать, уразумев, что добром такое девичье безумие не кончится, вознамерилась сына поскорее женить. И без того парень уж не ангел, две вдовы за ним числятся, и ладно бы богатые! Хорошо хоть, не сразу он их завел, а поочередно, иначе быть бы бабьей драке со срыванием рогатых кик вместе с волосниками и тасканием за косы. И соблаговолила она заслать сваху к Бородиным, семья хорошая, и с купцами в родстве, и сколько-то подьячих государю дала, сидят по разным приказам. А у Бородиных дочь Наталья – не писаной красавицей уро-

дилась, зато умница, рукодельница, хозяйка. Мать и рассудила, что такая ее сыночка крепко в ежовых рукавчиках держать будет.

Наталья, так уж вышло, раньше Стеньку в глаза не видывала. А увидела – онемела. Она и девкой была с норовом, все так делала, чтобы другие девки иззавидовались. А тут Бог жениха послал, по которому пол-Москвы сохнет!

Повенчали их. И начали они жить.

Стеньку новая родня в Земский приказ определила, и уж вознеслась мыслями Наталья, что быть ему через год – подьячим, через три – дьяком, а там уж и до думного дьяка недалеко! Однако немедленно обнаружилось, что Стенька не знает грамоты. То есть иные буквы-то помнит и пальцем вывести умеет, а иные – словно впервые в жизни видит.

Наталья сама читать-писать училась, молитвы в молитвослове по складам прекрасно разбирала, счет знала, и не просто считала, а очень быстро – когда на дворе суетились куры и утки, умела счесть безошибочно. И сделалось ей обидно, что муж, который жене должен быть главой, так опростоволосился. То есть – все ее мечты словно с Ивановской колокольни наземь рухнули.

В приказе-то и читать, и писать надобно...

И вознеслась мыслью над Стенькой обиженная Наталья! И одолела ее бессильная гордыня!

Став бабой, она дружилась уж не с прежними подружками, а с такими же молодыми бабами, чьи мужья и братья так же кормились при Земском приказе. И как заходила между ними, бабами, речь о красавце Стеньке, так Наталья-то нос и задираала.

– С лица-то не воду пить! – говаривала. – С оглоблю-то вырос, а ума-то и не вынес! Личико беленько, да разуму маленько!

А то еще и круче загибала.

– Глуп по самый пуп, а что выше, то пуще!

И всяко показывала, что вот-де она, умница, угодила замуж за такого дурака, что хоть в прорубь головой. Шестой уж год в земских ярыжках – так в этой должности, видать, и помрет.

И не рассчитала Наталья! Говорила-то она это с горя бабам, а доходило до мужиков. Многие их семейные тайны так-то были ею выболтаны да до ушей Стенькиного начальства и добрали. Еще поп Сильвестр в «Домострое» велел бабам вечером всеми новостями с мужьями делиться, а «Домострой», красиво переписанный, во многих семьях имелся. И, посмеявшись, принимали мужья все это к сведению, так что Стенькино продвижение вверх по служебной лестнице год за годом все откладывалось. И оттого Наталья еще больше злилась на мужа.

Так вот через избыточный свой ум стала Наталья поперек дороги мужу, да и себе самой, если вдуматься, тоже. Подьячие-то по праздникам богатые подарки получают, коли пирог – так в пять алтын, коли щука мороженая – так в шесть алтын, а ярыжке разве какой приказчик морковный пирог в две деньги сунет – мол, и впредь, молодец, поглядывай, чтобы у моей лавки ненужного и вороватого народу не околачивалось. И тот пирог Стенька, по торгу гуляя и за порядком следя, сам к вечеру и приест...

Другое горе – у всех ровесниц уже по двое и по трое за подол цепляются, а Наталья так и ходит порожняя. То ли Стенька плохо старается, то ли где-то в небесах Бог с ангелами так рассудили, что незачем ему, безграмотному, детей даровать, однако пусто в доме...

И от этой, совершенно ею не заслуженной, обиды вообще стала избегать Наталья того дела, от которого дети бывают. А Стенька, разумеется, очень тому удивлялся и сперва даже думал, что жена здоровьем скорбна сделалась, жалел, дурного слова не сказал. Потом уж уразумел, что она ему таковым образом обиду чинит.

И все равно не понял, как ее бабья обида ему на служебном поприще откликается...

Ближе к вечеру, когда шалаши и палатки на торгу стали запираить, он явился в приказ узнать, не будет ли какого дела на завтрашнее утро. Подьячий, Гаврила Деревнин, един-

ственный повернулся к нему, когда он, впуская холодный воздух, не сразу прикрыл тяжелую дверь приказной избы. Гаврила сидел в торце длинного стола и подклеивал исписанный лист к свитку. Свитки эти назывались столбцами, и длины они были немереной. Искать в них какое давнее дело – вспотеешь, развиваючи и обратно свиваючи. И была с ними еще морока – подклеив, нужно было дожидаться, пока высохнет, перевернуть и с другой стороны свитка, как раз по стыку, написать свое имя и прозвище, тем самым заверив, что все – без обману.

Вид у Гаврилы Михайловича был деловитый – за ухом писчее перо, в зубах – другое, правой ручкой кисть в горшок с клеем макает, левой листы соединяет. Перед ним – железный двусвечник, и две сальные высокие свечи горят ясным светом. Степка, глядя, иззавидовался. Сидит этот Гаврила в теплой избе, под задом у него войлочный тюфячок, на нем однорядка в пятнадцать рублей, не менее! И ногой под столом мешок придерживает. Был, знать, проситель с приносом.

– Бог в помощь! – перекрестясь на образа, сказал Стенька.

– Заходи, садись, – отвечал Деревнин.

– Как там та баба? Забрали ее?

– Забрали. В рогожу завернули и повезли к себе. Ее такую в церковь вносить грешно, сперва отмыть надобно.

– Это что же, все удавленники – так? Опорожняются? – осторожно спросил Стенька.

– Как который. Ты, Степа, поди, и в лицо-то ей глянуть побоялся.

– Глянул... – пробормотал Стенька.

– То-то – глянул! А как ты полагаешь – чем ее на тот свет отправили? Чем ей горлышко-то перехватили? А?

– Кто ж ее разберет!

Двое подьячих, слушавшие вполуха этот разговор, негромко рассмеялись. Долгий трудовой день кончался, мало было надежды, что явится еще проситель, оставалось прибрать столбцы в короба – да и по домам. Теперь и посмеяться не грех...

– Сам-то ты глядел, Гаврила свет Михайлыч? – осмелился подпустить в вопросе ехидства Стенька.

– Да уж глянул. Удалили ее, я тебе скажу, пояском. Накинули сзади поясок-удавочку – и нет бабы...

– Как же он на бегу пояс-то с себя сдирал? – спросил Стенька.

– Кто сдирал?

– Да Родька-то Анофриев, стряпчий конюх. Это его теща, он ее порешил.

– На бегу, говоришь, сдирал? Ну-ка, садись, расскажи, что знаешь!

Стенька сел напротив Деревнина. Уважительно сел – на самый краешек скамьи. Ему было приятно оказаться в кругу пожилых и почтенных людей – не ярыжек, не мелкой шушвали, а стряпчих, прослуживших в этом звании по десять и по пятнадцать лет, поставивших дома, прикупивших землицы, у иного была где-нибудь ближе к Пскову и порядочная деревенька, поселиться на старости лет и жить себе не хуже князя.

– Дело-то, Гаврила Михайлыч, видать, непотребное.

Стенька изложил свои домыслы, почему покойница Устинья удирала от убийцы в одной рубахе распояской и простоволосая, даже без обязательного для замужней бабы и для вдовы волосника, куда убирают косы.

– Стало быть, спутался тот Родька с той Устиньей? – уточнил Деревнин.

– Выходит, что так.

– Стало быть, прикормила она его?

– Да прикормила, поди...

– Стало быть, бабьим делом она от него за приданое откупалась?

Степка никак не мог понять, к чему клонит подьячий.

– Откупалась, поди!

– Так какого же рожна ему ее убивать?

– Пьян, видать, был! Вспомнил, что приданого недодала!

– Нет, сокол, тут одно из двух: или та баба исхитрилась его в блуд вовлечь, и тогда она бы с ним управилась, не выскакивая зимой телешом на улицу. Или же это дело до того темное, что разбирательство с ним выйдет долгое... Насчет рубахи-то ты верно подметил, а насчет погони... – Деревнин почесал за тем ухом, что было свободно от пера. – А скажи-ка ты мне, сокол ясный, что – тот Родька не на внучке ли Назария Акишева женат?

– На Татьяне, что ли? – уточнил Стенька. – И впрямь! Старого-то Акишева я как раз там на дворе и встретил!

– Тогда слушай, что сказывать буду. Акишев – из старых конюхов, у него денежка приколпена. Ступай-ка ты обратно к той Татьяне, может статья, он все еще там. Войди как бы по делу – узнать, не сыскалось ли чего нового. Может, кто из соседей видел, как ту Устинью не Родька, а иной душегуб по улице гонял. И скажи не напрямую, а как бы намеком – мол, Гаврила Деревнин, Земского приказа подьячий, берется над этим дельцем поразмыслить. И пришел бы к нему Назарий посоветоваться. Понял?

– Значит, не Родька Устинью порешил? – без экивоков прояснил для себя положение дел Стенька.

– Пока что ниточки к нему тянутся. Вон Якушка мне с утра толковал – мол, тот Родька который уж год грозился ту Устинью изувечить, наконец, собрался! Но вот у нас, свет, имеются две зацепочки. И первая – узнай-ка ты мне, где Родькин пояс, каким он зипун, или однорядку, или что он там под шубу надевает, подпоясывает. Говорю же – шея у покойницы ровненько перехвачена. Когда руками – пятна от пальцев есть, а тут вмятина – как полоса, и не вверх уходит, а пряменько. Хотя я и не знаю, как это – на бегу пояс на себе под шубой развязывать, однако всякие чудеса бывают...

Собратья-подьячие, слушавшие эту речь, пересмеялись. Складно говорил Деревнин. Стенька, пока шло это рассуждение, иззавидовался.

– И ежели он ее поясом давил, то непременно тут же поблизости его бросил! Сорвал с себя впопыхах, употребил – да и бросил, вряд ли у него ума хватило наново тот пояс под шубой повязывать. А ежели пояс на нем пребывает, то, стало быть, Устинья, может статья, чьим-то иным кушачком удушена. Разумеешь?

– Разумею! – подтвердил потрясенный Стенька.

– А другая зацепка – лоб у той Устиньи разбит. Кровь запеклась. Может, бежала, не разбирая дороги, да и дверной косяк чуть головой не выбила. Может, споткнулась, грохнулась и о глыбу ледяную лоб расшибла. И вы бы с тем Акишевым завтра с утречка пошли и поглядели, каков в ее домишке косяк. Третье же – когда люди вот так из дому удирают, то дверей не запирают. И ты бы выяснил, когда бабы пришли к той Устинье искать в коробах, во что ее обрядить, была ли заперта дверь. Понял, свет?

– Как не понять! – Тут уж Стенька обрадовался.

Дураком он, невзирая на распускаемое Натальей злоречье, отнюдь не был, и сообразил быстро: Деревнин почуял поживу. Ежели он докажет, что Родька Анофриев тещи не убивал, то Назарий Петрович Акишев за ценой не постоит, расплатится по-честному.

– Ну так чего ж ты расселся! Беги, а коли мне в этом дельце пособишь...

Подьячий хотел было выразить свою благодарность в денежном исчислении, но слово замерло у него на языке.

Стенька уж совсем собрался вскочить, но тут грузный сослуживец Деревнина, Семен Алексеевич Протасьев, муж дородности завидной, завершив свои сегодняшние хлопоты, принялся вставать. И тот край длинной скамьи, который он занимал, естественно, освободился. Стенька, сидевший из почтительности на самом противоположном краешке, полетел на пол,

а скамья, встав дыбом, припечатала еще не распрямившегося Протасьева снизу по заднице. Все это свершилось молниеносно, так что Деревнин лишь откатнулся, зато третий приподнявшийся подъячий, Емельян Колесников, разумом оказался шустрее прочих – зычно расхохотался.

– Да чтоб ты приподняло да шлепнуло! – возмутился, глядя на Стеньку сверху вниз, Протасьев.

– Ох, дядя! Да это ж тебя-то как раз приподняло да шлепнуло! – выкрикнул Емельян.

Тут уж засмеялись все, включая ошалевшего от неприятности Стеньку.

Долго гремел в приказной избе завидный по радости и искренности хохот. И до того раскисли подьячие: Протасьев – тот опять на скамью шлепнулся, а Стенька дважды встать пытался и назад валился.

Наконец смех перешел в бессильное оханье и кряхтенье.

– Ну, Степа, потешил ты мне душеньку! – утирая лоб, вымолвил Деревнин. – С тобой и скоморохов не зови...

– Грех один с вами! – наконец, как самый старший, догадался одернуть сослуживцев Протасьев. – Уж точно, что смеяться – не ум являть, а белы зубы казать! Повеселились – и будет! Не ровен час, взойдет кто...

И встала тишина...

– А коли тот Назарий Акишев станет расспрашивать, что Родьке грозит – мне ему как отвечать? – спросил, вставая наконец, Стенька.

И тут уж окончательно сделалось тихо.

– За убиение тещи то есть? – Деревнин крепко задумался. – А что, ребятушки, кто помнит – в Уложении про тещу писано?

Протасьев и Колесников переглянулись.

– Врать не стану – не помню, – признался Колесников. – Коли жена мужа порешит – про то писано, коли муж – жену...

– Коли муж – жену... – повторил Протасьев, мучительно вспоминая. – Гаврила, помнишь, еще до чумного сиденья купец жену зарезал из ревности! Как же его, дурака, звали?

– Черной сотни купец? – припомнил и Колесников. – Долговым его звали, Ивашкой! Ну так его кнутом ободрали и на поруки отпустили!

– И только? – с сомнением спросил Деревнин.

– Причина же была. А вот еще стрелец Еремеев жену по пьяному делу убил без причины – и его повесили. А другой случай был – так там муж жену за невежливые слова порешил. А это все-таки причина. Ему отсекли левую руку да правую ногу.

– Стало быть, молчит Уложение и про жену, и про тещу, – подвел итог Деревнин. – Ты, Степа, этого Акишеву не говори. А скажи ты ему как раз про левую руку и правую ногу. Конюх без руки и ноги – это посмешище одно, и место ему – по ту сторону Боровицких ворот, за мостом, где государь велел богадельню поставить. Так и намекни.

– Уж намекну! – радостно пообещал Стенька.

– Ты уж не поленись, походи по этому дельцу. Порасспрашивай. Глядишь – и узнаешь чего путного. И нам польза, и тебе выгода, – со значением продолжал Деревнин. – А что прослышишь – сюда неси, я уж разберусь.

Ты-то разберешься, подумал Стенька, ты-то грамотный! И Назарий Акишев по твоему хотению мощну-то растрясет... Ну что за грамота такая подлая, одному дается, а другому – хоть тресни?!

– Ступай же с Богом! – велел Деревнин. – До ночи еще с Акишевым побеседовать успеешь.

– Погоди! – удержал земского ярыжку Колесников. – Степа, не в службу, а в дружбу! Выгляни, поищи Котофея! Он, мерзавец, опять запропал – хоть сам в избе на ночь оставайся мышей ловить!

Стенька сразу помрачнел. Поманили, посулили, да и послали ловить кота. А где его в потемках изловишь? Однако и без кота нельзя – вдоль стен стоят коробка с туго уложенными столбцами, и прогрызть лубяной короб для мыши плевое дело. Но ее, дуру мышь, никто за это батогами не попотчует, а недоглядевшим подьячим достанется.

Стенька вышел на мороз.

– Котофеюшко, поди сюда! – неуверенно позвал он, стыдясь того, что увидят знакомцы и засмеют. – Поди сюда, котинька!

Наталья – та умела зазвать в дом кошку, и как же это у нее получалось?

– Кутя-кутя-кутя... – Впрочем, тут же Стенька сообразил, что так подзывают щенят. Однако во тьме зверски мявкнуло.

– Кутя-кутя-кутя! – с таковым воплем Стенька кинулся на голос и, конечно же, упустил порскнувшего ему промеж ног Котофея.

Кот скрылся во мраке. Поняв, что гоняться за гнусной скотиной бесполезно, Стенька вернулся в приказную избу.

– Пропадает где-то, – сообщил он подьячим.

– Тебя, что ли, заместо его оставлять? – задумчиво спросил Деревнин, а Семен Алексеевич Протасьев, уже в шубе и в шапке, повернулся к сослуживцам:

– Ну, спасибо этому дому, пойду к другому!

Он неторопливо вышел, напустив при этом холоду.

– Да что с этими столбцами за ночь делается? – возмутился Стенька.

– Что делается?!

Деревнин принялся перечислять урон от мышей за последние десять, кабы не более, лет. Стенька уныло отбрехивался, совершенно не желая носиться полночи по окрестностям с воплем «кутя-кутя-кутя!». И совсем было осерчал подьячий на земского ярыжку, совсем было распалился гневом, как, в подражание великому государю, распаялся в приказах стар и млад, да вдруг повернулся к коробам, словно желая призвать их во свидетели, и онемел.

На расписной деревянной крышке сидел как ни в чем не бывало Котофей и выкусывал нечто промеж когтей левой задней лапы. Очевидно, он проскользнул, пока выходил неторопливый Протасьев.

– Слава те Господи! – сразу подобрел подьячий. – Ну, Степа, поди с Богом к Акишеву! А завтра с утра явишься, доложишь. Ах ты, наш спаситель, ах ты, наш благодетель!..

Относилось это, понятно, не к Стеньке, а к раскормленному, избалованному, высокомерному коту. И среди купцов, и среди подьячих была такая забава – дородностью котов выхваляться, и Земский приказ от прочих не отставал.

Хорошо, что ночь была лунная – Стенька без спотыканья добрался до Конюшенной слободы. В доме у Татьяны Анофриевой еще хозяйничали, и дед Акишев, разумеется, там был, но не утешал внучку, а сидел за столом с Гришкой Анофриевым, двоюродным братом пьянюшки Родьки, и думу думал.

– Бог в помощь, – сказал Стенька, крестясь.

– Заходи, Степа! – хмуро отвечал Гришка. – Тут у нас такое деется...

– Погоди! – одернул его дед. – С чем пожаловал, Степан Иванович?

Редко, очень редко Стеньку именовали с «вичем», и не дурак он был – понял, что в беде всякого приветить рады, от кого пользы ждут, хоть земского ярыжку – не по своей же воле он на ночь глядя притащился, стало быть, его из приказа прислали...

– Подьячий Гаврила Михайлович Деревнин кланяться тебе, Назарий Петрович, приказал.

– Ну, садись.

Стенька сел и показал деду глазами на Гришку.

– Да ладно, – буркнул дед. – Сказывай уж, с чем пришел.

Стенька как мог связно передал домыслы подъячего Деревнина.

– Стало быть, не может он понять, как Родька тещу удавил? – уточнил дед. – Ну так и не надобно... Кланяйся подъячему своему, скажи – благодарствуем на добром слове, да только пустые это хлопоты...

И два вздоха разом, дедов и Гришкин, услышал Стенька.

– Это почему ж? – возмутился он.

– Да чего там... – проворчал Гришка. – Все одно завтра это выплывет, ведь сколько баб знает! С утра на всю Москву и растреплют!

– Дурак ты, Гришенька, – уставившись в столешницу, молвил дед. – Вот так все сразу и надо выболтать...

– Да что стряслось-то? – уже почти возмущаясь дедовым упрямством, спросил Стенька.

Стряслось же вот что. Когда тело покойницы Устиньи привезли на двор и поставили греть воду, чтобы обмыть его, Татьяна послала свою невестку Прасковью, вдову Родькиного брата Фрола, взять в дому у Устиньи что следует из ее вещей. Поскольку Прасковья и раньше туда хаживала, дворовый пес ее знал и в дом бы, надо полагать, пропустил.

Прасковья взяла с собой еще двух баб и отправилась за вещами.

Обнаружилось, что в дому у Устиньи непорядок, короба раскрыты, а таких важных в женском хозяйстве одежек, как шуба, зимние чеботки с загнутыми носами, зимний же опашень с частыми пуговками сверху донизу, а также нарядная душегрея, нет. Причем видно, что человек, перебиравший короба, искал чего получше. Две исподницы, одна белая, другая красная, выложены на лавку, да там и остались. Несколько тканых поясков – тоже. Что еще пропало – Прасковья так, сразу, сказать не могла.

Мог ли Родька допить до такого скотства, чтобы прийти в дом к теще, удавить ее кушаком, раздеть, вскинуть тело – на одно плечо, а узел с вещами – на другое, да и направиться, избавившись от тела, к кружечному двору, пропить добычу, – такой жутковатый вопрос встал перед осиротевшим семейством. Зная, что пьяный человек за свои поступки не отвечает, дед Акишев уже внутренне согласился с тем, что Родька убил тещу. Только вслух признавать этого не желал...

Татьяна – та вовсе едва ль не в беспамятство впала, мало того что матери лишилась, так и все следы к мужу ведут... Говорить с ней было бесполезно. Потому дед позволил соседкам увести ее и малышей. Осиротевшую семью на ночь разобрали по домам, а мужчины, Акишев и Гришка Анофриев, остались думу думать. Да что-то плохо это у них получилось...

Разложенные кушаки – вот что Стеньку смущало. Не выбирал же этот олух, каким лучше тещу удавить! Надо полагать, она сама свое добро перебирала, когда его нечистая сила принесла, вот пьяный Родька и подумать не успел, как орудие удушения в руках оказалось. Выходит, и все разумные рассуждения Деревнина – недействительны. Не распоясывался этот дурак на бегу под шубой, а орудовал в тепле и уюте.

И все же – пешком-то ночью дойти до Крестовоздвиженской обители по скользким улочкам большая морока, а ночью, да с двумя узлами на плечах?

Стенька отнюдь не был таким безнадежным дураком, каким его считала Наталья. Родьку Анофриева он знал, хоть и не дружился, и не роднился с ним. И Родька вовсе не был из тех богатырей, какие на Масленицу государя силушкой тешат, схватываясь один на один с медведями. Предположить же, что какой-то сукин сын ждал снаружи, пока Родька расправится с тещей, чтобы помочь ему унести добычу, было вовсе нелепо, хотя...

Ведь пил же где-то этот дурак, прежде чем наведаться к теще!

Стенька и питухом беспросветным не был, однако на кружечный двор заглядывал, причем не в одиночку. После того как шесть лет назад государевым указом велено было целовальникам продавать не менее, чем большую, из трех прежних состоящую чарку, и притом же запрещалось пьющим людям на самом кружечном дворе и близ него сидеть, мужики наловчились – ходили за выпивкой по двое и по трое. Брала они эту чарку вскладчину, вот на каждого прежняя мера и выходила. Стало быть, у Родьки наверняка были приятели, что болтались окрест кружечного двора в ожидании одинокого питуха, которому не с кем располовинить чарку.

И Стенька тут же представил себе такой разговор.

– Проклятый целовальник в долг не наливает, залога требует, – мог сказать первый питух, которого Стенька, невзирая на февральский холод, вообразил пропившимся до креста, то бишь босого, без порток и в одной рубахе, с лиловым носом и клочковатой бороденкой, непременно – с торчащими крошками и рыбьими косточками. – А где тот залог взять?

– А у тещи у моей! – это отвечал Родька, одетый-обутый, уже где-то выпивший, но еще не желавший расставаться со своим имуществом. – Она, стерва, приданого мне недодала! Пошли к ней, пригрозим – хоть холстину от нее получим, хоть старую исподницу! Бабыю тряпичную казну целовальники берут!

– А пошли! – согласился умозрительный питух. – Поднесешь – так я помогу тебе с тещей управиться!

И пошлепал по снегу босиком вслед за решительным Родькой!

Могло ли такое быть?

Если верить деду Акишеву, который от горя совсем умом помутнел, – то могло...

И рухнули все Стенькины надежды!

Он-то возрадовался, что Деревнин наконец-то внимание на него, ярыжку, обратил, такое поручение дал, что и денег при удаче должно перепасть!

– Послушай, Назарий Петрович, – обратился Стенька к деду. – А что сам Родька-то сказал?

– А шут его знает! – ответил вместо деда Гришка. – Как за Родькой пристава пришли, так он и просыпаться не пожелал. За руки, за ноги мы его выволокли с конюшни. А там – на санках, на каких воду возят. Весь Кремль насмешили!

– В тюрьму на санках доставили? – удивился Стенька. – Крепко ж он налакался!

– Да уж, – согласился Гришка и покосился на деда.

Но тот, погруженный в свои невеселые думы (чего ж веселого – Родькина жена Татьяна с шестью малыми у него на шее повисала...), не возражал против негромкой беседы молодых мужиков.

– А что? – Стенька подвинулся к конюху поближе.

– Отродясь так не напивался. Бывало, приползет спозаранку, завалится спать, а к обеду, глядишь, уж холодной водой в рожу плещет. Он на хмельное-то крепок, а тут, вишь, разобало...

Стенька вздохнул – померещилась было ниточка, да не ниточкой оказалась, а так – видимость... Вопросов о разбитом Устиньином лбу и следах на косяке, а также о запертой или распахнутой двери уж можно было не задавать.

Сорвалось дельце.

– Ну, хотел помочь, да не удалось, – сказал он, вставая. – Ты, Назарий Петрович, все же заглянул бы утром к Деревнину. Может, вместе и надумали бы чего.

– Загляну, – отвечал дед Акишев. – Ступай себе с Богом, Степа. Прости, коли приняли плохо. Видишь, не до тебя.

– Вижу, – согласился Стенька.

Выйдя со двора, он неторопливо направился к своему домишке, а жил он в Замоскворечье, на краю Стрелецкой слободы, неподалеку от государева большого сада. Зимой туда можно было перейти по льду Москвы-реки, а не брести вдоль кремлевской стены к мосту.

По дороге он отчаянно размышлял о деле.

Что-то с этим Родькой было не так...

Что – этому надлежало проясниться, когда Родьку утром призовут к ответу. Ежели он сразу повинится, то и дела нет, назначат наказание, да и перейдут к другим бедолагам. Отсеченная рука да нога – бр-р-р... А коли отопрется? Ведь дед потому и хмурится, сообразил Стенька, что прикидывает, во сколько ему может встать Родькино отпирательство. Как ни крути, а в кошеле преогромная прореха. Или сейчас плати всякой приказной крупной и мелкой сволочи, чтобы внучкиного мужа из беды вытащить, или потом – все семейство вместе с увечным Родькой содержи, а это подороже встанет...

Стенька решил рано утром подойти к тюрьме и через знакомцев разведать, как там Родька – спит ли сном праведника или уж держится за голову да кается в грехах.

– Ахти мне! – услышал он женский голосок.

Задумавшись, Стенька налетел на бабу. Да и та, видать, спешила, глядя под ноги и размышляя о своем, потому и сшиблись на узкой тропке между сугробами.

– Глядеть надо! – отвечал он на вскрик.

И повернулся боком, чтобы с бабой разойтись.

– Степан Иваныч, ты, что ли?

– Он самый! – подтвердил другой свежий голосок.

Оказалось, бабы шли гуськом, след в след.

– А вы чьи таковы? – приятно удивленный тем, что молодые бабы знают его в лицо, да еще и величают с «вичем», спросил Стенька.

– Я Акулина, – сказала первая баба, – а со мной Дарьца. Мы утром у Анофриевых на дворе были, неужто не помнишь?

– Поди вас всех упомни! – грубовато заявил Стенька. – Зажали меня в угол, чуть бороду не выдрали – расскажи да расскажи!

– Гляди, вспомнил! – развеселилась Дарьца.

– А что ж это вы носитесь невесть где в такое время? – строго спросил Стенька. – Не ровен час, на дурного человека напоретесь.

– А нас Прасковья в тюрьму посылала.

– Какая еще Прасковья?

– Татьяне-то ни до чего дела нет, знай плачет, так за нее Прасковья Анофриева всем распоряжается. И Прасковья нам велела взять пирогов вчерашних, взять войлок, взять рубаху чистую и все это понести в тюрьму Родьке. Не сидеть же ему там голодному! Мы и побежали!

– И что Родька?

– А с Родькой неладно. Добудиться не могут. Вырвало его, болезного, и опять заснул, – сказала Акулина жалобно.

– Еле упростила, чтобы пустили рожу его дурную обмыть, – добавила Дарьца. Она была постарше Акулины, совсем юной, и норовом покрепче. – Знаешь что, Степан Иваныч? Сто-рожа сказывали – такое бывает, коли человека опоят. Есть такие сонные зелья, что человек спит беспробудно и просыпается полумертвый!

– Голубушки вы мои! – воскликнул Стенька. – Расцеловал бы я вас!..

– Да ты никак с ума съехал? – возмутилась Акулина, может статься, и притворно, а Дарьца развеселилась.

– Так за чем же дело стало?!

Она протиснулась мимо подружки, да неудачно – задев ее бедром, так и усадила на плотный сугроб. Сама же стала перед Стенькой, румяная, широкая в пышной шубе, и до того белозубая, что мужик так и вспыхнул.

Поцелуй на морозе бывает хмельным, лучше всякого вина, и Стенька с трудом оторвался от шаловливой бабы.

Ниточка появилась! Та ниточка, за которую уж можно было тянуть без опасения, что порвется!

И первым делом задать вопрос: кому до такой степени помешал трезвый Родька Анофриев, что его непременно опоить следовало? Что такое видел, слышал, знал Родька, чтобы его опаивать?

И дельце, которое за минуту до того казалосьдохлым, ожило.

* * *

Дворовый кобель Анофриевых Данилку знал, даже не брехнул ни разу. Парень взошел на крыльцо и, вытянувшись, палкой постучал у самого окошечка о резной наличник. Оно было, как и водится, прорублено высоко, без палки не достать.

У Анофриевых было тихо.

– Вань, а Вань! – позвал Данилка.

Ответа не услышал. Неужто спать легли?

А чего бы им и не лечь, ведь стемнело. Не сидеть же при лучине до утра!

Однако свет сквозь затянутое бычьим пузырем оконце пробивался. Еле-еле, почти неуловимо. То ли от луны тусклый отсвет?... То ли молодая хозяйка, сделав огонек так, что слабее не бывает, дитя баюкает и к двери подойти не желает?

А Ваня?

Уж не заставили ли Ваню таскать дрова для водогрейного очага, что было Данилкиной обязанностью? Непременно заставили, если Данилку дед Акишев с конюшен увел, конюхи поругались-поругались, да его лучшего дружка к делу и приставили...

Данилка уселся на ступеньках крыльца и тяжело вздохнул. Уж так все скверно сложилось – сквернее некуда. И холодно. В такую ночь, гляди, и в добрых сапогах замерзнешь. Стрельцыто в караул так укутаются – одни носы торчат, видывал Данилка, как они в епанчах поверх тулупов по башенным лестницам карабкаются, смех один. А вот довелось бы кому из них посидеть в морозец на крылечке не в сапогах, а в лаптях, как сейчас Данилка, и сделалось бы им, балованным, тяжело...

Главное, непонятно – куда же теперь податься?

Упрямства в парне сидело столько, что скорее бы замерз, чем вернулся на конюшню, где по его милости уже наверняка стряслась беда – пьяного Родьку взяли за приставы. И более всего не любил Данилка в своих грехах каяться. Лучше по шее схлопотать, чем повиниться! Дед Акишев за ним эту дурь знал и порой нарочно покаяния добивался, да так ни разу и не добился.

Дверь скрипнула. Ваня босиком, в длинной рубахе и, кажется, вовсе без порток, выглянул и показал рукой – сюда, мол.

Данилка в узко приоткрытую, чтобы холода не напустить, дверь живо протиснулся в сенцы. Там еще не было в полную меру тепло, однако и не морозно. Хорошо бы Ваня пустил сюда ночевать, подумал Данилка, тут пара бочат стоит одной доской накрыта, на той бы доске и примоститься, не беда, что коротка. И рогожка наверняка в хозяйстве найдется – укрыться.

Но по шляхетскому своему норову парень не начал беседы с просьбы.

– Садись, – сказал Ваня. – В горницу не зову, парнишка у нас прихворнул, Дуня переполошилась, полон дом старых дур...

Данилка сел на доску.

– Про Родьку знаешь? – спросил.

– Как не знать...

– Вань! А как ты полагаешь – он это или не он?

В сенцах было темно, Данилка не столько увидел, сколько угадал – сидевший рядом Ваня повернул к нему светловолосую голову и поглядел с любопытством.

– А ты? – спросил дружок.

– Я? А вот послушай... – Данилка устроился поудобнее. – Та Устинья от вас через забор живет. А побежала к Крестовоздвиженской обители. Значит, мимо ваших ворот бежала. Дальше чей забор и чьи ворота?

– Лариона Расседлаева, того, у которого осенью гнедой жеребец плечо и руку изъел. Помнишь ли? Сам государь велел выдать на леченье полтину.

– Дальше?

– Дальше Голиковы.

– И у всех хорошие кобели? Которых ночью с цепи спускают?

– Как же не спустить? – удивился Ваня. – Для того и держим!

– А теперь скажи мне, слышал ты, чтобы кобели ночью лаяли, или не слышал?

– Зачем тебе кобелиный лай?

– А затем! – Данилка стал уж сердиться на Ванину непонятливость. – Коли по улице баба бежит, а за ней мужик, то ведь непременно их чей-то пес из-за забора облает! А другие подхватят!

– Какая баба? Господь с тобой! Какой мужик?!?

– Да Устинья же! А за ней – Родька!

– Делать тебе больше нечего, кроме как башку ломать, куда Устинья, царствие ей небесное, побежала, – по-взрослому ворчливо сказал Ваня. – Ты в ярыжки земские, что ли, записался?

– Ваня, ты послушай! Ежели она от своего домишка к Крестовоздвиженской бежала, то ее бы голиковский Полкан так облаял – вся слобода бы всколыхнулась! Васька Кольцов к голиковской Матрене залезть пробовал, он знает! Этот Полкан где-то у самого забора всю ночь живет!

– Тихо ты! – приструнил дружка Ваня. – Будет нам сейчас Полкан...

И мотнул головой на дверь, откуда впрямь могли показаться Дунина мать, или кто из старших сестер, или бабка.

– А когда Артемонка прихворнул? – с умыслом спросил Данилка. – И что с ним приключилось?

– Как раз вчера вечером, как стемнело, крикун напал. Дуня досветла унимала, – не почуяв подвоха, отвечал Ваня.

– И тебе выспаться не дал?

– Какое там выспаться! Я утром, как коней покормили и напоили, в сено закопался, вздремнул.

– Стало быть, кабы псы вдруг все разом залаяли, вы с Дуней бы услышали?

– Да тебе-то какая печаль?

– А такая печаль, что я подъячему не догадался соврать, что Родька будто бы жеребцов на кобыличью конюшню повел. Откуда я знал, что он, блядин сын, лежит пьянешенек? А Бухвостов, собака косяя, и рад шум поднять!

Ваня дружка хорошо знал. Если Данилка так вот злобствовал, это могло означать и тщательно скрываемый от самого себя страх.

– И теперь так получается, что ты Родьку Земскому приказу с головой выдал? – уточнил Ваня.

– Вот так и получается.

Ваня мог бы сказать, что конюхи таких дел не любят, что за такие дела бьют, но не стал. Данилка и сам все понимал. От укоризны ему бы легче не сделалось.

Если по правде – Ваня был очень всем этим делом недоволен. Родька ведь и ему какой-то вовсе непонятной родней приходился. Да и держались конюхи друг за дружку крепко.

Однако сидел с ним рядышком Данилка, и если его со двора сейчас погнать, совсем ему податься некуда. Выгонят или не выгонят с конюшни – это уж завтрашняя забота. Сейчас же придется его на ночлег устраивать.

Данилка же, весь поглощенный своим рассуждением, не обращал внимания на Ванино хмурое раздумье.

– Вань, она же не полем – она от Родьки улицей бежала! Первое – молча бежала, а ведь тут дома! Кричала бы – люди бы услышали, выскочили, помогли! Что же она молчала? А второе – псы! И что же получается?

– А с чего ты взял, будто она мимо наших, расседлаевских да голиковских ворот бежала? – задал разумный вопрос Ваня. – Мало ли где Родька ее гонял?

– Но не кругами же! Она – баба старая, толстомясая... ой!.. – Данилка вспомнил, что говорит-то о покойнице, и грешно ее таким словом поминать. – Не могла она от него долго удирать, он бы, Родька, ее живо нагнал! А ее до Крестовоздвиженской донесло. Кабы в другую сторону бежала – ее бы в другой стороне и нашли.

– Ну и что с того?

– А то, Вань, что вовсе ее из дому никто не выгонял телешом. И не бегала она босая по снегу. А порешили ее в каком-то другом месте, – уверенно сказал Данилка. – Я даже вот что скажу – те, что ее порешили...

Тут он запнулся – никак не мог придумать, которым боком пристегнуть к покойнице Устинье ту странную девку, что пыталась забраться к ней в дом, но была вспугнута им же, Данилкой, и удрала по-хитрому.

Ваня, хоть и был молод, но многое понимал. И то, что Данилке страх как не хочется чувствовать себя виновным в Родькиной беде – вот он и придумывает всякие выкрутасы.

Не первый год знал Ваня дружка. Видел его и отупевшим от тяжелого однообразного труда, засыпающим на ходу, но упрямо продолжающим возню с дровами или с ведрами. Гордость мешала Данилке смириться с тем, что по его невольной вине выяснилась причастность Родьки к смерти Устиньи, – это Ваня понимал без слов. Ну да что уж поделаешь, коли дружок такой гордый попался?

– Так ты завтра с утра растолкуй все это деду, а он уж догадается, как дальше быть, – посоветовал Ваня. – А пока я тебя тут устрою. Тут коротко, ну да устроишься и выспишься.

И прибавил по-взрослому:

– Утро вечера мудренее.

– Нет, Ваня... – почему-то почти шепотом возразил Данилка. – К деду на конюшню идти нужно. Не пойду.

– Бог с тобой, я ему скажу, – Ваня встал.

Этот разговор начал ему надоедать, и единственным средством прекратить его было – поскорее принести Данилке войлочный тюфячок и старую шубу, чем укрыться.

Пропадал Ваня долго – должно быть, объяснялся с женой из-за шубы с тюфяком.

Данилка сидел и думу думал.

Нет, не Родька удавил Устинью. Устинья ему и дверей-то не открыла бы! Данилка вспомнил, что толковал на Родькином дворе тот земский ярыжка, и внутренне согласился с ним. Родька вряд ли сошелся с толстомясой Устиньей – он скорее бы нашел себе любовницу среди тех лихих женок, селившихся поблизости от кружечных дворов, которые оказывали гостеприимство пьющим людям. Ведь распивать купленное прямо на кружечном дворе государь не

велел, домой не всякий тащить хочет, и в большом почете та бойкая кумушка, к которой тут же можно завернуть, получив за малые деньги миску соленых рыжиков на закуску, а то еще и саму хозяйку в придачу.

Когда Ваня принес что подстелить и чем укрыться, Данилка уже все придумал.

– Нужно сыскать, где Родька эту ночь провел. Ежели с вечера пить начал, то там, где пил, поди, и заночевал. А когда тот дом сыщется...

– Отпусти душу на покаяние! – взмолился Ваня. – Ты моего Артемонки дурее, право! И что же – так и будешь шататься вокруг кружал, аки шпынь ненадобный? Да ведь ты со своими дурацкими расспросами как раз под чей-нибудь кулак со свинчаткой угодишь!

– Буду, Ваня, – сурово отвечал Данилка. – Иначе мне на Аргамачьих конюшнях не жить. На это Ване возразить было нечего.

– И как же ты расспрашивать собираешься? Мол, не видал ли кто государева стряпчего конюха в непотребном виде? И не приметил ли, которая зазорная девка его подобрала и спать с собой уложила?

Тут Данилка призадумался.

Он попробовал вызвать перед глазами лицо Родьки Анофриева, чтобы выявить приметы. И оказалось, что таковых у Родьки вообще нет – волосы того же русого темноватого цвета, что и у всех здешних, нос обыкновенный и борода обыкновенная, ни длинная и ни короткая. Бородавок и родимых пятен на видных местах не имеется. А заглянуть поглубже и определить хотя бы цвет глаз Данилке и на ум не пришло.

– Вань, а сколько тому Родьке лет?

– Родьке-то?

Восемнадцатилетний Ваня с детства привык к тому, что Родька – уже большой и бородастый. Никогда он не задавал себе такого вопроса – сколько лет тому или иному из конюхов. А вот теперь задал и призадумался.

– Старшенькому его, Матвейке, двенадцать, поди... Или даже больше... – начал соображать Ваня. – Когда он родился – это уж у тещи моей спрашивать нужно, бабы за такими делами следят. Ну, скажем, если как у меня Артемонка, то Родьке должно быть лет тридцать, ну, чуть поболее... А если как Васька у Гришки, так Родьке...

Гришка Анофриев первую жену с детьми потерял в чумное время, поспешил жениться, и его старшему, Васе, было уже два года, самому же Гришке – под сорок.

– Нет, Данила, возраст – не приметя, – помаявшись, решил Ваня. – Вон деду нашему иной шестьдесят на вид даст, а иной – восемьдесят лет. Мне-то самому по-разному дают. Кончай ты этой блажью маяться и спи!

С тем и ушел.

Данилка разулся и улегся на доске, согнув колени. Места мало, да уж выбирать не приходится. Под шубой он угрелся и даже засунул ноги в разошедшийся шов между сукном и мехом. Ногам сделалось совсем хорошо. Есть, правда, хотелось, ну да так не бывает, чтобы и тепло, и сытно, и спокойно разом.

Обычно Данилка, уработавшись, засыпал мгновенно. Однако этот день выдался бездельный – как увел его дед с конюшни, так Данилка и слонялся незнамо где, умаяться не успел. Вот и уснул не сразу, тем более что голова от размышлений гудела.

Проснулся он оттого, что на дворе звонко лаял пес. Видно, хозяйева, выглянув в окошко, признали раннего гостя, потому что дверь в сенцы отворилась и баба в шубе выбежала на крылечко.

– Цыц, Полкан, свои! – закричала она. – Иди сюда, Прасковья! Иди, не бойся!

Прасковью Данилка знал. У Родьки Анофриева был брат Фрол, не вынес чумного сидения, а она, Фролова вдова, уцелела. Очевидно, ей хотелось снова выйти замуж за кого-то из конюхов, и потому она дружилась с мужниной родней, вместе с другими бабами и девками

забегала порой на Аргамачьи и на Большие, что в Чертолье, конюшни. Сейчас же Прасковья добровольно взяла на себя все заботы о Татьяне и ее семействе, то есть всячески показывала, какая она добрая да хозяйственная, как своих в горестях не оставляет.

Встретила ее Ванина теща, баба еще молодая, норовистая и языкастая.

– Ну, что Татьяна?

Прасковья, споро поднимаясь по лесенке на высокое крыльцо и обивая снег с сапог, успела рассказать и по каким домам роздали детей, и где Татьяна, и когда отпевание, а самое главное приберегла напоследок.

– А знаешь ли, свет, что Родька все Устиньино добро на кружечный двор сволок?

– Да ты сядь, отдышись! Я кашу вон из печи достала!

Очевидно, не замечая, что в сенцах есть еще человек, Прасковья продолжала выкладывать новости.

– Я же к Устинье, царствие ей небесное, пошла за вещами, во что обряжать, и со мной еще Дарьица и Мавра. А у нее все коробка раскрыты, видать, Родька-то копался! И шуба пропала, и зимние чеботы, и опашень! Я как увидела – чуть мимо лавки не села...

Теща, которой не хотелось босиком стоять в сенях, втянула гостью в горницу. Данилка мигом соскочил с доски и, кутаясь в шубу, прижал ухо к дверям, к самой щели.

– И говорю – ахти мне, Дарьица, а ведь я права оказалась! Не к добру та душегрея!

– Ты про новую? – обнаруживая знание Устиньина хозяйства, уточнила теща. – Да потише, дочка с зятем спят. Артемонушка-то ночью нас повеселил – уж не чаяли, что до рассвета угомонится.

Данилка про себя назвал потребовавшую тишины бабу стервой...

– Про новую, ту, что она сама себе сшила из лоскутьев! Говорила я ей – не шей из лоскутьев, Устиньюшка, не к добру! Нет, говорит, такой ткани поискать, такого богатого синего цвета, я лучше лоскуток к лоскутку подберу и будет душегрея как у боярыни.

– Такую ткань у купца брать, так разоришься, – заметила Ванина теща. – Я чай, по три, если не по четыре рубля за аршин. А купчиха-то ей обрезочков дала всяких, и больших тоже, чего же не сшить? Рукавов-то кроить не надобно, лишь зад да перед, и всего-то в аршин длиной. И галун золотной по десять алтын за аршин идет, а она из кусочков составила, стыков и не разглядеть. Пуговики же у нее были припасены.

– Рукодельная была, помилуй, Господи, ее душеньку, – согласилась Прасковья. – Да только как увидела я те лоскутья, так и сказала – как хочешь, Устиньица, а не нравятся они мне. Птицы на них по синему полю вытканы какие-то нехорошие.

– Персидская ткань с чем только не бывает, – согласилась теща. – Я бы тоже на себя с птицами не надела. А есть которая с человечками, и с тварями тоже есть.

– Вот эти пташки ее и унесли, – сделала вывод Прасковья. – И сами улетели! Ты, свет, приходи с Татьяной и с малыши посидеть.

– У нас тут свой имеется. Можно, конечно, ее младшенького к нам пока забрать, положим двоих в одну люльку, места хватит.

Бабы заговорили о детишках.

Данилка повторял приметы – бабья душегрея, птицы по синему полю, галуном золотным обложена, ткань персидская, дорогая, не всякой купчихе по карману. Вот только не сказали дуры-бабы, каким мехом душегрея подбита.

– Вставай, свет! Завтрак стынет, – сказала зятю Ванина теща. – Помолясь, да и за стол.

Ваня заспанным голосом что-то пробубнил в ответ, прошлепал к дверям.

– Держи, – он сунул Данилке в руку ломоть черного хлеба. – И шел бы ты на конюшню. Ну, съездят тебя Гришка или Никишка по шее – беда невелика. Съездят да и призадумаются – ведь все равно правда на свет вылезет, когда Родьку допрашивать начнут, так, может, и лучше,

что ты его подъячему выдал и никому, его выгораживая, врать не пришлось. Не то всех бы к ответу притянули.

Разумно рассудил Ваня, да кабы Ванину голову – прочим конюхам на плечи...

– Нет, призадумаются, да не простят, – возразил Данилка. Может, потому, что сам бы не простил дурака, что выдал на расправу брата или свата. – Спасибо тебе за хлеб да за ночлег, пойду я.

– На конюшню, слышишь, иди!

– На конюшню, на конюшню!

– Там и увидимся.

Данилка вышел на крыльцо. Утро было раннее, веселое, от белого снега и ясного солнышка в душе росла радость. Морозец – и тот был не злой. За невысокими крышами домишек Конюшенной слободы виднелись купола кремлевских соборов, и особенно торчала наивысочайшая, Ивановская колокольня.

Но ни в какой Кремль Данилка идти не собирался.

Он спустился во двор, потрепал по загривку пса и вышел на улицу.

Ход его мыслей был не прост, как дорожная колея, а раздваивался.

Коли Родька сволок все тещино добро на кружечный двор, стало быть, он к тому добру получил доступ.

Или же пожитки прибрал к рукам не Родька...

Данилка задумался. В самом деле, когда же псы вечером начинают лаять? Ведь ежели они весь день будут брехать из-за высоких заборов на всякого мимоидущего, то у них на ночь хлотов не хватит. Очевидно, охранять дворы они начинают тогда, когда их спускают с цепей. А это делается уже перед отходом ко сну.

Поскольку Устинья была в своем уме, то она не босиком на двор выходила, а сперва спустила собачонку, потом уж и стала раздеваться. И Родька, ежели бы притащился в то время, когда псы еще тревоги не поднимают, не застал бы тещи в одной исподнице. А раз они в ту ночь молчали, стало быть, никто ночью и не приходил.

Выяснив для себя это, Данилка стал рассуждать дальше.

Ежели бы Родька или кто иной явился к Устинье до ужина, она бы наверняка была одета как полагается. При нападении подняла бы шум и выскочила не в одной распашнице, а еще бы и шубу накинула поверх опашня. Выходит, тот, кто прибрал пожитки, хозяйку дома не застал. Можно бы порасспрашивать соседей, не встречали ли вечером у Устиньина двора человека с мешком. Да только станут ли отвечать? Вот кабы он, Данилка, был хоть земским ярыжкой! Тогда попробовали бы не ответить!

Определив для себя, что Устиньи дома не было, Данилка продолжал на ходу рассуждать дальше.

Родька мог прийти, чтобы в очередной раз сцепиться с тещей из-за приданого. Собака знала его и пропустила. Не застав тещеньки дома, Родька мог спяну и со злости пошарить по коробам. Почему нет шубы и чеботов – ясно, не босая ж она ушла. А вот прочее, включая нарядную душегрею, как раз и было к Родькиным услугам. Он мог прихватить то, что показалось ему на вид подороже, в счет приданого и отправиться на кружечный двор.

И теперь, стало быть, нужно доказать, что он пропивал душегрею весь вечер и всю ночь! Не один, а с другими питухами! А потом, возможно, и с девками.

Поскольку тело Устиньи появилось возле Крестовоздвиженской обители не с вечера, его бы там сразу заметили, а ночью, то вот и доказательство: не мог Родька, сидя у зазорных девок, одновременно душить тещу!

Теперь, зная приметы пропавшей душегреи, Данилка уже мог идти по кружечным дворам расспрашивать целовальников.

Он уже и речь составил: мол, шурина сестрину душегрею пропил, сестра убивается, на свадьбу звана, а идти не в чем, так нельзя ли выкупить? Дело было за малым – никогда не имея денег на пропив, Данилка понятия не имел, где на Москве можно разжиться хмельным. Спрашивать же с раннего утра он постыдился.

Кружечных дворов же на Москве было до полусотни, и ближайший, где Родька мог нализаться до изумления, стоял поблизости от Кремля, у самого Лобного места, и назывался «Под пушками», потому что рядом с ним лежали прямо на земле две огромные пушки. Другой удобный для конюхов кружечный двор находился за храмом Василия Блаженного и помещался в подвале. Еще имелся «Каток» у Тайницкой башни – с плохой славой. Был еще один в Колымажном переулке, неподалеку от Москвы-реки, звался «Ленивка», и туда без особой нужды простой человек не заходил. Его облюбовали те самые молодцы, что зимой промышляли, теща кулачным боем бояр и честной народ на речном льду. Чтобы боевого задора не растерять, они задирали всех, кого видели поблизости от «Ленивки». Конюхи, ребята крепкие, с кулачными бойцами все же предпочитали не схватываться.

Данилка первым делом дошел до «Пушек». Там Родьку знали и сказали, что давненько не видывали. А коли бы Родька там что пропил, так он человек ведомый, государев конюх, и вещи бы поберегли на случай, если захочет выкупить и прибежит. Не то явятся Никишка с Гришкой Анофриевы, а они тоже люди ведомые...

После беседы с целовальником Данилка понял – нужно врать, что послали с государевых конюшен, а не сам, своей волей, затеял розыск вести. Можно имя деда Акишева помянуть всуе, можно невзначай и подьячего Бухвостова, того, кто сдал пьяного Родьку за приставы...

В «Катке» тоже от Родьки отреклись напрочь. Посоветовали заглянуть в «Живорыбный», в «Козиху», в «Калпашной», и еще около десяти перечислили – поди все упомни!

– «Замошной», «Заверняйка», «Дубовка», «Живодерный»... – повторял Данилка, шагая из улицы в улицу и прерывая странную свою молитву лишь для того, чтобы спросить дорогу.

– Скажи, дедушка, где тут кружало? – Сочтя, что Брыскинский, по прозванию целовальника, кружечный двор уж близко, остановил Данилка самого подходящего, как ему показалось, старичка – невысокого, в потертом тулупчике, в лаптях неимоверной величины, имеющего такой вид, будто он от старости уже и мхом порос.

– Хорош отрок – спозаранку, да в кружало! – свирепо отвечал дедок.

Другой, выбранный по тем же признакам (и на трезвенника не похож, и окрестности наверняка знает), на вопрос расхохотался:

– А поглядите на молодца, люди добрые! Весь честной народ из кабака разбредается, а он только жаловать изволит!

Покраснев, Данилка прибавил шагу.

Вообще-то ему следовало искать такой кружечный двор, чтобы поближе к Неглинной. Потому что вся надежда на девок, которые, сообразив, что у мужика, пропившего душегрею, еще несколько алтынов осталось, заволокли его к себе. А по зимнему времени девки далеко забегать не станут, поблизости от своих домишек промышляют.

Задав вопрос напрямую – где, мол, ближайший на Неглинке кружечный двор? – и получив такой ответ, что уши завяли, Данилка решил более не пускаться в расспросы, а идти по своему разумению. И, понятно, заблудился. Обнаружилось это, когда он уже в гордом молчании дошел до храма Рождества Богородицы, что в Путинках.

До Неглинки Данилка добрался, когда время было уже обеденное.

Видать, здешние целовальники по части заложенных или пропитых бабьих тряпок были люди опытные и пуганые. После того как четвертый по счету напрочь отрекся от всех возможных душегрей, синих, зеленых и пегих в крапинку, Данилка заподозрил неладное. Ежели так и дальше пойдет, он правды не добьется, а правда необходима.

– Послушай, дядя, я ж не по своей воле так далеко забрался про душегрею выспрашивать! Меня старшие послали! Конюшенного приказа подьячий Бухвостов да задворный конюх Акишев! – пустил в ход Данилка главное свое оружие.

– Что за нужда Конюшенному приказу в бабьей душегрее? – здраво осведомился целовальник.

Был это и впрямь здоровый дядя, на голову выше Данилки, и с ручищами, какими только питухов за шивороты хватать да лбами сталкивать ради прояснения умственных способностей.

– Душегрея-то нашего конюха жены, а моей сестры, – продолжал врать Данилка и тут же изложил задуманное: что сестру на свадьбу зовут, что беспутный муж душегрею пропил, что дома рев стоит на всю Конюшенную слободу...

– А и врешь же ты, парень! – беззлобно заметил сообразительный целовальник. – Сестра над душегреей ревет, а сыскивать ту душегрею тебя подьячий послал! Ври, да не завирайся!

– Право слово, ревет Татьяна! – воскликнул Данилка, и это уж было правдой – Родькина жена, может, и успокоилась бы, но постоянно прибывали новые кумушки, проведавшие о ее несчастье, и не давали ей перевести дух да вытереть глаза, с каждой гостьей она принималась причитать заново.

– Ревет, говоришь? А подьячий ей слезки вытирает! Ты куда?! – Целовальник загородил Данилке дорогу. – А ну, выкладывай! Кто тебя к нам подослал? И чего тебе велено разведать?! Егорка, ну-ка, паршивец, в дверях встань! Этого – не выпускать!

– Да чего мне тут у тебя разведывать? – честно удивился Данилка. – Мне душегрея нужна! Меня за душегреей послали! Без нее и возвращаться не велели!

– Точно ли?

– Да точно – она и нужна, а разведывать не посылали!

И Данилка перекрестился.

– Ин ладно, парень, коли так – отдам я тебе ту душегрею, – внезапно помягчел целовальник. – Но она у меня заложена за пять алтынов. Хочешь – выкупай за шесть и забирай!

Данилка и ждал, что душегрея сыщется, и не ждал, что придется выкладывать за нее деньги. Живя без гроша, на казенных кормах, он привык обходиться даже без тех кривеньких полущек, каких у всякого сопливого мальчишки и то сколько-то было припасено.

– При себе у меня таких денег нет, – извернулся Данилка. – А вот добегу до приказа, там мне Бухвостов даст!

– Бухвостов? Подьячий? А что ж не сестра? Стой, Егорка! Стой на дверях! – Мощный целовальник ухватил Данилку за грудки. – И точно – вынюхивать пришел!

Затем он крепко впечатал парня спиной в стену и навалился на него.

– Попробуй только пикни! Тут тебе никто не поможет!

Данилка смог лишь захрипеть – два тесно сжатых кулака целовальника вдавились ему в горло. И не шевельнуться было.

– Коли скажешь, кто послал, живым отпущу, – прямо в ухо пообещал целовальник. – В зубы брязну для порядка – и ступай себе с Богом! А коли не скажешь – в прорубь спушу, она тут неподалеку. Корми тогда раков!

В ожидании ответа он несколько ослабил хватку.

Данилка быстро обвел взглядом кружало.

Народу было мало – закуску к хмельному подавать не велено, люди забегают по двое и по трое распить большую чарку – и тут же выметаются вон. Наливает из разных бутылей невысокий дядька, и на то, что целовальник кого-то зажал в углу, внимания не обращает, мало ли с какого питуха долг требует. Позвать на помощь некого. Объяснять целовальнику про Устинью и Родьку – опять же не поверит.

– Так что ты тут разведал, коли к подъячему своему бежать собрался? – напомнил Данилке целовальник. – Может, что водку развожу? Может, что с солдатами в долю вошел? Что ты мог увидеть, сучий потрох?

– Не знаю я никаких солдат, дядя!

– Может, что лихих людей приваживаю?

– И людей я не знаю! Мне душегрею отыскать надобно!

– Может, что девки у меня тут сидят? Или у ворот зазывают?

Данилка и подивился бы тому, сколько грехов может числиться за целовальником, но было не до удивления.

– Да на кой мне твои девки?

– Стало быть, в прорубь? Егорка, веревку неси. Свяжем раба Божия, до темноты полежит в чулане, а потом и вынесем, благословясь.

Егорка, судя по росту и дородности, был то ли сыном, а то ли младшим братом целовальнику. Он неторопливо подошел и перенял из рук своего старшего грудки Данилкиного тулупчика. При этом в его мохнатом кулаке была зажата сложенная в несколько раз веревка.

– Не накликай бы греха, – предупредил он целовальника. – Может, тот, кто его прислал, поблизости сторожит. Задержится тут парень больше положенного – к нам и пожалуют гости.

– Ах, чтоб он сдох! – от всей души пожелал Данилке целовальник. – Погоди! Придумал! И поспешил прочь.

– Стой, не дергайся! – посоветовал Данилке здоровенный Егорка. – Коли ты у нас невинная душа – то, может, и обойдется. Богу лучше молись! Мы тут таких, которые вынюхивают, не любим, понял?

Целовальник уже возвращался с чаркой в одной руке и с граненой темной склянницей – в другой.

– Две части водки, одну – зелья? – уточнил он у Егорки.

– А шут его знает! Тебе толковали, не мне.

– Ладно, как Бог даст...

Он плеснул из склянницы в чарку.

– Выпьешь – жив останешься! – сказал Данилке. – Не выпьешь – хуже будет! Разевай пасть-то!

Данилка, так уж вышло, до сих пор не оскоромился. В Орше еще мальчишкой был, а на Аргамачьих конюшнях – кто ж ему нальет? Мудрую целовальничью мысль он понял – ежели кто-то ждет его, посланного, снаружи да придет на выручку, то целовальник и покажет на пьяного Данилку – мол, кто ж его знал, что с одной чарки так развезет, забирайте своего дурака, чтобы и духу его тут не было! Но для чего же зелье?

Страх напал на парня – как напал бы на всякого человека, которому предлагают этакое угощенье. И тут же проснулся норов.

Данилка гордо отвернулся от поднесенной к губам чарки.

Целовальник сшиб с него шапку и, ухватив за пушистые волосы, запрокинул ему голову. Данилкин рот сам собой открылся...

– Эй, Григорыч! – раздался вдруг зычный голос. – Ты кого там в угол зажал – не девку?

– Ты знай пей, – отозвался целовальник, не поворачивая головы. – Пей, да дело разумей!

– Я пью! – сообщил незримый мужик. – А вы-то что с Егоркой там затеяли?

Из темного угла появился, воздвигнувшись над столом, молодец – рослый, плечистый, в дорогом лазоревом кафтане с собранными рукавами такой длины, что если распустить – по полу бы мели, но со смутным, как после долгодневного запоя, лицом. Когда он выпрямился, с плеч свалилась богатая шуба, но он и не позаботился поднять ее с грязного пола.

– Все бы вам добрым людям головы морочить! Что, много ли парень задолжал?

– Вот черт разбудил... – проворчал Егорка.

– Поди сюда, слышишь? – велел молодец Данилке. – Со мной – не тронут! Хочешь – выкуплю? Я им полтину дам – отстанут!

Видать, слово смутного молодца в кружале все же имело вес, Данилку отпустили и позволили шагнуть навстречу благодетелю. Парень, схватившись рукой за шею и даже не подобрав шапки, поспешил к столу, уставленному кружками, чарками, склянницами и сулейками.

– Садись! – приказал молодец, шлепаясь на скамью и давая возле себя место. – Кто таков?

– Я с Аргамачьих конюшен... – Тут Данилка вовремя вспомнил, что никакой должности на конюшнях он не имеет, держится исключительно добротой деда Акишева, а в беседе с приличными людьми этим щеголять не с руки, так что придется соврать. – А прозванием – Ивашка Анофриев.

– Пить будешь, Ивашка?

– За чужие не пью, своих пока не нажил, – сразу отрекся от хмельного Данилка.

Молодец поглядел на него, хмыкнул и треснул ладонью по плечу, что означало – хвалю!

– А я Илейка Подхалюга, однако ты меня так звать не смей!

– Илья, а по отчеству? – осторожно спросил Данилка.

Молодцу было на вид лет около сорока, хотя и нарядился он, как молодой жених. Да и седина уж мелькала в крутых нечесаных кудрях. Да и дородства он накопил – широк-то в плечах широк, но, оказавшись с ним рядом, легко можно было оценить немалого охвата чрево. Звать такого богатыря одним именем Данилка счел неприличным.

– Илья Карпович. Ты, коли не пьешь, чего по таким непотребным местам шатаешься?

– Да сестрину душегрею ищу! – снова пуская в ход состряпанное вранье, воскликнул Данилка, тем более что целовальник и Егорка торчали поблизости и слушали беседу. – Сестру на свадьбу звали, а сестрин муж взял да и пропил! Мне сыскать велено, чтобы выкупить. Душегрея только с виду-то хороша, а вся из кусочков сшита.

Тут парню вошло на ум, что нужно наконец-то увязать между собой треклятую душегрею и подьячего Бухвостова.

– Сестра на конюшни прибежала, нашему подьячему в ноги кинулась. Уйми ты, говорит, мужа! Он же до того допьется – конюшни подожжет! Тут Пантелей Григорьевич мне велел бежать искать ту душегрею и обещал денег дать, а потом он их из Родькиного жалованья вычтет.

Вроде бы получилось складно.

– Такой он у вас добрый? – удивился Илейка.

Данилка призадумался. Кто его, Илейку, разберет, одет он на зависть любому дворянину, скорее всего, что имеет в приказах знакомцев. И беречь бухвостовское достоинство от сплетен Данилка тоже не нанимался...

– Добрый, если сунешь барашка в бумажке.

– Вот и я о нем то же самое слыхивал! – развеселился Илейка. – А то, может, сестра ему другим барашком услужила? Бабы – они по-своему расплачиваются!

– Да Бог с тобой! – Данилка совершенно искренне шарахнулся от шутника, но Илейка не унимался:

– А что сестра? Хороша ли собой? Вот я братца вызволил, а она бы меня и отблагодарила? Данилку дед Акишев столько раз уродом называл, что парень в это уверовал.

– Хочешь знать, какова сестра, на меня посмотри, Илья Карпович, – посоветовал он. – Мы с Татьяной, говорят, на одно лицо получились.

И сам порадовался, до чего ловко ввернул Татьянино имя. Теперь, даже ежели кто вздумает проверять, комар носу не подточит – есть такая Татьяна с мужем-питухом Родькой!

– Ну-ка, поворотись...

Илейка некоторое время глядел на Данилку, наконец хмыкнул.

– Нет уж, видать, мне сегодня бескорыстно доброту являть придется... Есть хочешь, Ивашка?

– В кружалах же не подают.

– Мне – подают! Посиди со мной, сделай такую милость. Выпьем, поговорим.

По правде, есть Данилке хотелось невероятно. Как вчера утром на конюшнях позавтракал, так по сей час крохами пробавлялся.

– Недолго посижу, а там и пойду, – сказал он. – Мне же душегрею найти надобно.

Про еду не сказал ни слова. Просить, чтобы покормили? Да лучше умереть.

– Григорьич! – позвал Илейка. – А тащи-ка парню чарку! Он не кот, молока не пьет, а от винца не откажется! Время, поди, уж обеденное, а в обед сам Бог велел. Ну-ка, Григорьич, что у нас там еще осталось? Не все же я со вчерашнего дня приел да выпил!

И расхохотался вроде бы и радостно, широко разевая рот и сверкая белоснежными зубами, а приглядеться – так невесело. И было в его смехе что-то очень неприятное...

– Да всего полно! Водка анисовая и коричная, водка боярская, вино боярское с анисом, – стал перечислять целовальник, – вино с махом дворянское... мало?

– Анисовой перед обедом? Под грибки, а? – спросил Данилку Подхалюга.

Парень пожал плечами.

Был он не избалован, и всякая щедрость казалась ему подозрительной. Тем более бурная и безосновательная, как у Илейки.

– А нет ли чего такого, чего я еще не пил? – любопытствовал у целовальника Подхалюга.

– Да все, поди, перепробовал, – подумав, сказал тот. – Ты у нас, Илья Карпович, который уж день царева кабака отшельник?

Илюха призадумался было, да вдруг устремил соколиный взор вдаль – туда, где хлопнула дверь.

– Ну, по мою душу!

Подошел высокий и, даже под шубой видать, тонкий мужик, рожа – топором, борода узкая, шапка на нем высокая, заостренная, весь из себя как есть жердь.

– Так и знал, что ты здесь! – сказал он. – На дворе тебя обыскались. Давай-ка, собирайся.

– Садись, Гвоздь! – Подхалюга подвинулся, освобождая место на лавке, и оказался посерединке между Данилкой и прищельцем. – Что пить-то будешь? Григорьич! Друга моего уважь, а?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.